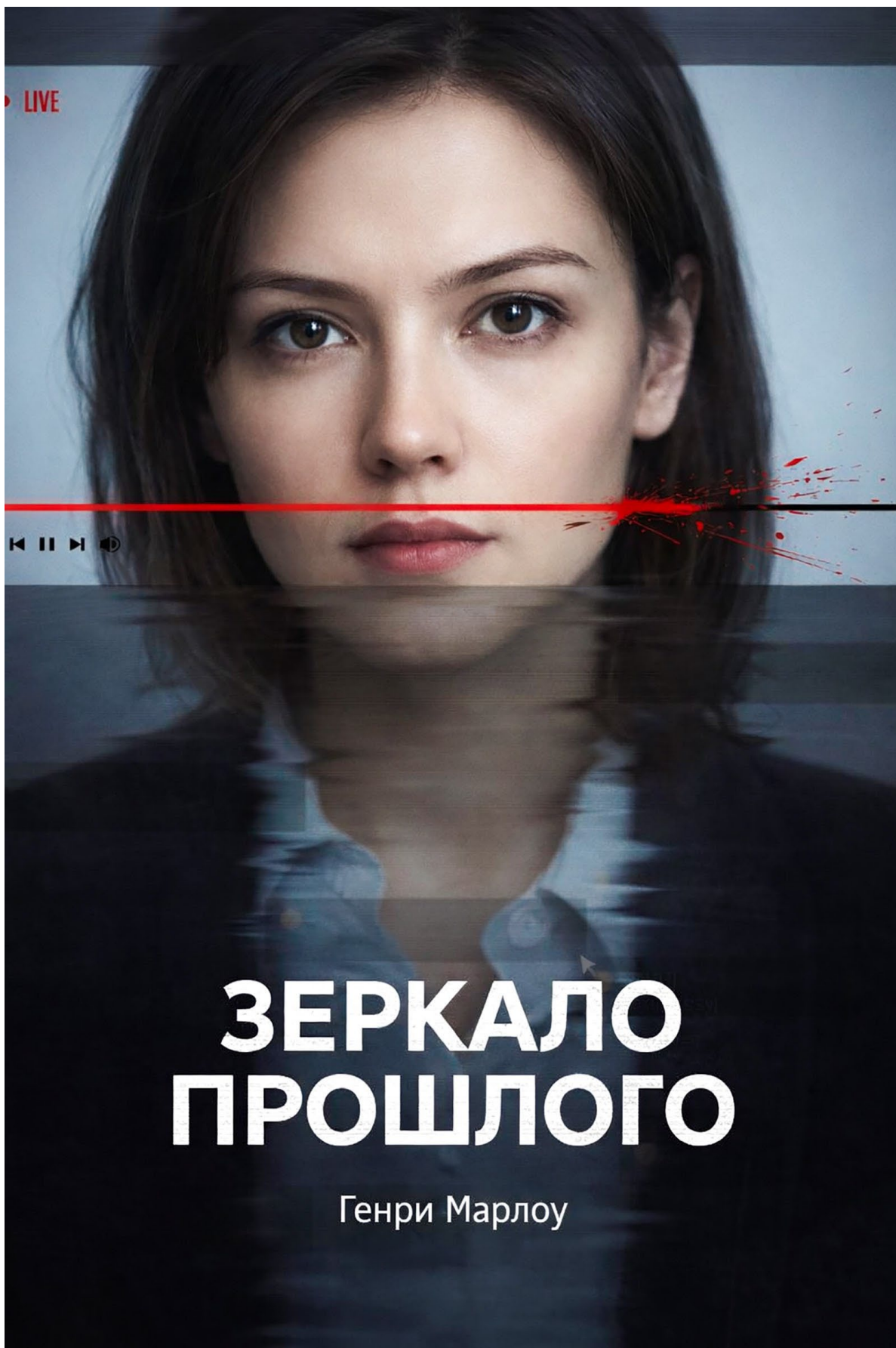
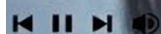




LIVE



ЗЕРКАЛО ПРОШЛОГО

Генри Марлоу

Зеркало прошлого

Генри Марлоу

Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными.

Оглавление

Глава 1. Шум

Глава 2. Язык насекомых

Глава 3. Архитекторы

Глава 4. Желтая звезда

Глава 5. Паутина

Глава 6. Диагноз

Глава 7. Дети

Глава 8. Программирование

Глава 9. Отражение

Глава 10. Инквизиция

Глава 11. Тишина

Глава 12. Механизм

Глава 13. Сводка

Глава 1. Шум

Гул в метро всегда одинаковый. Это плотная, вязкая субстанция, которая забивает уши, нос и поры кожи. Смесь запаха резины, перегретого металла, чужих духов и усталости. Я стояла, прижатая плечом к стеклянной двери вагона, и смотрела на свое отражение в темном стекле туннеля. Бледное пятно лица, темные круги под глазами, прядь волос, выбившаяся из хвоста. Мне тридцать лет, и я чувствую себя прозрачной.

Поезд дернулся, свет мигнул. Люди вокруг качнулись единым организмом. Справа от меня мужчина в сером пальто листал ленту новостей, слева девушка с ярко-розовыми волосами спала стоя, обняв рюкзак. Мы все были здесь, и никого из нас здесь не было. Это состояние я называла «режимом энергосбережения». Ты встаешь, пьешь кофе, вкус которого не замечаешь, едешь в офис, перекладываешь цифровые бумажки из одной папки в другую, улыбаешься коллегам, чьи имена забываешь через секунду после разговора, и едешь обратно. Жизнь, поставленная на беззвучный режим.

Я достала телефон. Палец привычно скользнул по экрану, запуская бесконечную ленту. Картинки, заголовки, реклама, снова картинки. Яркие пятна, не вызывающие эмоций. Кто-то женился, кто-то умер, где-то скидки, где-то война. Все это сливалось в единый информационный шум, такой же монотонный, как стук колес поезда. Я листала не для того, чтобы узнать что-то новое, а чтобы заглушить пустоту внутри. Если глаза заняты, мозгу не обязательно думать о том, зачем я проснулась сегодня утром.

И вдруг палец замер.

Это был сбой в матрице моего равнодушия. Не яркая реклама, не шокирующий заголовок капслоком. Черно-белая фотография. На ней была молодая женщина — трудно определить возраст, когда лицо искажено не гримасой, а печатью абсолютного, запредельного опыта. Но зацепило меня не это.

Глаза.

Она смотрела прямо в объектив, и через него — в меня. В этом взгляде не было просьбы о помощи. Там не было слез. Это был взгляд существа, которое увидело изнанку мира и теперь знает о нас, «нормальных» людях, что-то такое, чего мы сами о себе знать не хотим.

Подпись под фото была короткой: «Жаклин. Выжившая после геноцида. Руанда, 1994».

1994.

Цифры вспыхнули в сознании, как неоновая вывеска. Мой год рождения.

Пока моя мама лежала в роддоме на окраине Москвы, глядя на весеннее небо и выбирая мне имя, пока отец неумело кипятил пеленки и покупал цветы, в другом месте, под тем же самым солнцем, мир рушился. Я сделала первый вдох — кто-то сделал последний. Я впервые заплакала от холода и яркого света — кто-то кричал от боли, которую невозможно представить.

Мы ровесники. Я и этот геноцид.

Поезд начал тормозить, объявляя станцию «Парк Культуры». Толпа вынесла меня на платформу, но я продолжала сжимать телефон, словно это был единственный твердый предмет в расплывающейся реальности. Я отошла к колонне, пропуская поток людей, спешащих на пересадку. Мне нужно было прочитать. Прямо сейчас.

Статья называлась просто, почти сухо. Никаких кричащих эпитетов. Текст начинался с истории Жаклин Мурекаете. Девятилетней девочки, которая в одночасье перестала быть ребенком и стала «тараканом».

Я читала, и буквы начинали расплываться, но не от слез, а от странного головокружения. Жаклин рассказывала, как соседи — те самые люди, с которыми ее семья здоровалась каждое утро, у которых брали соль или с кем обсуждали погоду, — пришли убивать. Не чужаки, не солдаты иностранной армии. Соседи.

«Я не понимала, как можно за несколько дней превратиться из человека в таракана», — говорила она.

Я подняла глаза от экрана. Мимо проходили сотни людей. Мужчина с портфелем. Женщина с ребенком. Группа подростков, смеющихся над чем-то в

телефоне. Обычные лица. Усталые, озабоченные, веселые. Могли бы они? Если бы им сказали, что я — не человек? Если бы радио и телевизор день за днем повторяли, что я — угроза, вирус, насекомое?

Эта мысль была абсурдной, дикой. Я отогнала ее. Это Москва, двадцать первый век. Это цивилизация. А там была Африка, девяностые, дикость... Так ведь принято думать? Это защитная реакция: «Это не про нас. Это где-то там, далеко и давно».

Но взгляд Жаклин с экрана телефона не отпускал. Он разрушал эту уютную дистанцию.

Я добралась до дома на автопилоте. Ключ в замке, щелчок, запах пыли и старого паркета. Моя съемная квартира — моя крепость. Здесь тихо. Здесь безопасно. Я не стала включать свет в коридоре, прошла на кухню, бросила сумку на стул. Обычно в это время я включаю сериал, чтобы он бубнил на фоне, пока я жую разогретый ужин. Но сегодня тишина казалась необходимой.

Я села за стол, не раздеваясь, и снова открыла статью. Мне нужно было понять. Не «что» произошло — это можно описать цифрами: около 800 тысяч убитых за примерно сто дней. Эти цифры слишком огромны, чтобы человеческий мозг мог их переварить. Мне нужно было понять «как». Как это становится возможным? Как воздух, которым дышат люди, превращается в яд?

Я начала переходить по ссылкам, углубляясь в материал. Передо мной открывался механизм, о котором я никогда не задумывалась. Я, как и многие, считала, что геноцид — это взрыв ярости, хаос, безумие толпы. Кровь, огонь, мачете.

Но документы говорили и о другом.

Это была работа. Спланированная, организованная, методичная работа.

Я наткнулась на абзац о радио. RTLМ. «Радио тысячи холмов». Название звучало почти поэтично, как имя туристического агентства или фолк-фестиваля. Но то, что я читала дальше, заставило меня похолодеть.

Это не было скучное государственное радио с бесконечными речами вождей, которое никто не слушает. Нет. Это было одним из самых популярных и влиятельных радиоголосов того времени, особенно среди молодой городской

аудитории. Там крутили лучшую музыку. Конголезская румба, зук, регги, западные хиты. Ведущие были звездами. Они шутили, они говорили на сленге, они были «своими». Их слушали в барах, на рынках, в такси, в домах. Молодежь обожала RTLМ.

Представьте себе вашу любимую радиостанцию. Или популярный подкаст. Или YouTube-канал, который вы смотрите за завтраком. Ведущий — харизматичный, остроумный парень. Он ставит классный трек, вы подпеваете, пританцовывая с зубной щеткой во рту. А потом, между песней и шуткой, он говорит что-то о «тех людях». О тех, кто мешает нам жить. О тех, кто виноват в наших проблемах.

Сначала это намеки. Шутки на грани фола. Ирония. «Мы же просто шутим, чего вы такие серьезные?» Потом это становится настойчивее. Потом появляются «факты» — непроверенные, вырванные из контекста, но звучащие убедительно. И вот уже между хитами Мадонны или Майкла Джексона звучат призывы.

«Работайте, друзья. Кустарник нужно расчистить. Высокие деревья нужно срубить».

Я сидела в темной кухне московской квартиры, а в ушах стоял фантомный звук этого радио. Веселый голос диктора, который под бодрый ритм объясняет, почему соседскую девочку нужно убить.

Пропаганда использовала развлекательный контент как наживку. Это было чудовищно. Люди приходили за музыкой, а получали инъекцию ненависти. Доза за дозой. День за днем. Месяц за месяцем.

Геноцид не начался в один миг 6 апреля 1994 года, когда сбили самолет президента. Это был лишь спусковой крючок. Бомба была собрана задолго до этого. Она собиралась в эфирных студиях, в редакциях газет, в кабинетах интеллектуалов. Информационное поле готовилось тщательно, как почва перед посевом.

Я встала и подошла к окну. Двор был залит желтым светом фонарей. На детской площадке кто-то выгуливал собаку. Из открытой форточки на третьем этаже доносились звуки телевизора — какое-то ток-шоу. Голоса ведущих, перебивающих друг друга, взрывы аплодисментов, напряженная музыка.

Я вздрогнула. Звук, который я слышала тысячи раз и который был просто фоном моей жизни, вдруг показался мне зловещим. О чем они говорят там, в этом светящемся ящике? Кого они обсуждают? Над кем смеются? Кого называют врагом сегодня?

Я вернулась к экрану телефона. Следующая история ударила меня под дых своей физиологичностью.

Иммакюле Илибагиза. Студентка. Такая же молодая девушка, как я когда-то. Когда начались убийства, отец отправил ее к соседу-пастору, думая, что это ненадолго. «Через день-два все уладится», — говорил он.

Как часто мы говорим это себе? «Это ненадолго». «Это ошибка». «Так не может продолжаться». Нормальная психика отказывается верить в катастрофу до последнего. Мы цепляемся за иллюзию нормы, даже когда стены уже рушатся.

Иммакюле провела 91 день в ванной комнате. Ванная размером 3 на 4 фута. Я быстро перевела в уме: примерно 90 на 120 сантиметров.

Я встала и пошла в свой санузел. Включила свет. Белый кафель, зеркало, полка с кремами, стиральная машина. Моя ванная была маленькой, типичной для «хрущевки», но даже она была больше. Я попыталась представить пространство 90 на 120 сантиметров. Это чуть больше душевой кабины.

В этом пространстве прятались несколько женщин. Три месяца.

Я зашла внутрь, закрыла дверь. Встала в угол. Представила, что рядом со мной, прижавшись ко мне телами, потом, страхом, дыханием, стоят еще несколько человек. Нельзя говорить. Нельзя спустить воду в туалете, пока кто-то снаружи не включит кран или не зашумит, чтобы заглушить звук. Нельзя чихнуть. Нельзя пошевелиться, чтобы не разбудить боль в затекших конечностях.

Несколько женщин, спрессованных в единый комок плоти, дрожащий от ужаса. А за тонкой стеной — мир, который сошел с ума. За стеной убийцы ищут их, называя «тараканами». За стеной радио RTLМ крутит веселую музыку и призывает «завершить работу».

Я посмотрела на свое лицо в зеркале. Оно казалось чужим. Сытым. Благополучным. И бесконечно виноватым.

Почему я здесь, в тепле и безопасности, а они были там? Почему мне повезло родиться в Москве, а не в Кигали? Это лотерея. Просто слепой случай. Никакой заслуги.

Я вышла из ванной, чувствуя, как не хватает воздуха. Мне нужно было открыть окно, вдохнуть холодный уличный воздух.

Вернувшись к статье, я нашла еще один фрагмент. О генерале Ромео Даллере. Командующий миссией ООН. Человек, который видел надвигающуюся бурю. Он знал. Он предупреждал.

Задолго до апреля, до первых мачете, он отправлял факсы в Нью-Йорк. Он писал: «Они составляют списки». Он писал: «Они закупают оружие». Он писал: «Пропаганда накаляется».

Его информатор сообщил, что ему поручили переписать всех тутси в Кигали. Списки. Это слово резануло меня. Списки — это ведь так бюрократично. Так обыденно. Списки жильцов, списки избирателей, списки сотрудников, списки неблагонадежных...

Геноцид — это не только кровь. Это сначала бумага. Это чернила. Это картотеки. Это галочки напротив фамилий.

Даллер просил разрешения вмешаться. Просил подкрепления. Просил позволить ему изъять тайники с оружием. Ему ответили: «Нет».

Мир был занят другим. Югославия. Ближний Восток. Экономика. Олимпиады. Руанда? Маленькая страна в сердце Африки. Ни нефти, ни стратегических интересов. Кому какое дело? «Международное сообщество делало всё возможное, чтобы игнорировать Руанду», — вспоминал Даллер.

Я почувствовала укол совести, острый, как игла. Разве я не часть этого «сообщества»? Разве я не игнорировала все, что не касалось моего маленького мирка? Я жила в коконе, считая, что политика меня не касается, что история закончилась, что самое страшное, что может случиться — это отключение горячей воды или повышение цен на такси.

Я была слепа. И моя слепота была частью того же механизма, который позволил случиться Руанде. Равнодушные миллионов таких, как я, создает ту тишину, в которой убийцы могут спокойно точить ножи.

Я читала дальше, проглатывая абзац за абзацем. Факты накладывались друг на друга, формируя страшную картину.

Мальчик — один из выживших детей во время геноцида в Руанде, которому было около 14 лет, — прятался под трупами два дня. Два дня под телами своих соседей, друзей, родных. Притворяться мёртвым, чтобы выжить. Вдыхать запах смерти, чувствовать тяжесть остывающей плоти.

После геноцида ЮНИСЕФ и другие гуманитарные организации создавали программы психологической и социальной реабилитации для детей-выживших.

Я отложила телефон. Экран погас, отразив мое лицо.

В квартире было тихо, но теперь эта тишина не была пустой. Она была наполнена шепотом. Прошое перестало быть страницей в учебнике истории. Оно вышло из берегов времени и затопило мою кухню. Я поняла, что больше не смогу просто «листать ленту». Я не смогу смотреть на мир прежним взглядом. Что-то сломалось во мне. Или, наоборот, что-то наконец включилось.

Я вспомнила сегодняшний день. Офис. Обед. Разговоры коллег.

— Ты слышала, что этот... ну, из отдела маркетинга, уволился?

— Давно пора, он какой-то мутный был. Не наш человек.

— Ага, вечно всем недоволен. Пятая колонна, ха-ха.

Тогда я просто улыбнулась и кивнула. Обычный офисный треп. «Не наш человек». «Мутный». Шутки. Теперь эти слова эхом отдавались в голове. «Не наш». «Чужой».

Я подошла к книжной полке. Там стояли старые книги, оставшиеся от хозяев квартиры, и несколько моих. Я искала что-то, сама не зная что. Просто нужно было коснуться бумаги, убедиться, что реальность еще существует. Мой взгляд упал на календарь на стене. Обычный перекидной календарь с видами природы. Красивый водопад. Зеленые холмы.

«Страна тысячи холмов». Так называют Руанду. Красота и ужас могут существовать рядом. Радио может играть прекрасную музыку, призывая к смерти. Сосед может улыбаться, пряча мачете под кроватью.

Я вдруг остро ощутила свою уязвимость. Вся моя жизнь — работа, метро, планы на отпуск, накопления на новый телефон — все это держалось на тонкой пленке «нормальности». На вере в то, что существуют правила. Что есть закон. Что человека нельзя просто так взять и убить, потому что он родился не с той формой носа или не с той записью в паспорте.

Но Руанда показала: эта пленка рвется мгновенно. И вначале рвут ее слова. Слова, которые сначала кажутся просто шумом, просто мнением, просто политикой.

Я снова взяла телефон. Мне нужно было сохранить эту статью, мне нужно было узнать больше. Я чувствовала, что это только начало. Я стояла на краю бездны, и бездна смотрела на меня глазами Жаклин. Но самое страшное было не в том, что я узнала о прошлом. Самое страшное было в том, что я начала слышать настоящее.

Я открыла окно настежь. Холодный московский ветер ворвался в кухню, раздувая занавески. Город гудел. Шум машин, сирены, далекий гул поездов, голоса, музыка из проезжающих авто. Огромный, сложный, многоголосый организм. И в этом гуле я теперь пыталась различить отдельные ноты. Где здесь просто жизнь? А где — начало той самой мелодии? Где тот ритм, под который однажды, незаметно для всех, начнут маршировать не на параде, а по лестничным клеткам?

Я закрыла глаза и прислушалась. Шум города больше не был белым шумом. В нем появились слова. И мне предстояло научиться их понимать.

На столе вибрировал телефон. Пришло уведомление от новостного приложения. Короткая строка на заблокированном экране. Очередной закон принят. Очередной запрет. Очередная группа людей названа... как?

Я не стала открывать. Я просто смотрела на светящийся прямоугольник в темноте. Маленький, удобный, персональный передатчик. Мое личное «Радио тысячи холмов», которое всегда со мной, в моем кармане. И оно никогда не выключается.

Глава 2. Язык насекомых

Слова были просто инструментом, набором звуков для передачи информации: «передайте за проезд», «отчет будет готов к вечеру», «мне один латте на кокосовом». Они были прозрачными, невесомыми, как пластиковая упаковка, которую срываешь и выбрасываешь, не задумываясь.

Но после той ночи, когда я впервые открыла историю Жаклин, слова обрели плотность. Они стали тяжелыми, шершавыми, иногда липкими. Я проснулась с ощущением, что мой рот набит пеплом.

Утро началось как обычно. Будильник, душ, кофемашина, гудящая на кухне. Но теперь в привычном шуме квартиры я слышала второй слой. Я смотрела на экран телефона, где висело недочитанное с ночи исследование, и чувствовала, как от букв исходит холод.

Я начала изучать словарь слов-убийц.

Это не был словарь мата или прямых угроз. Это был словарь зоологии и санитарии.

В Руанде 1994 года убийство не называли убийством. Его называли «работой». Его называли «расчисткой кустарника». А тех, кого нужно было убить, не называли людьми. Их называли *inyenzi*. Тараканы.

Я сидела на кухне, глядя на крошки тоста на столе, и пробовала это слово на вкус. *Иньензи*. Звучит почти мягко, певуче. Но за этим звуком скрывалась технология, настолько простая и эффективная, что от её элегантности становилось дурно.

Зачем называть врага врагом? Враг — это человек. У врага может быть семья, правда, достоинство. С врагом можно вести переговоры. Врага можно уважать. Убийство врага — это грех, или, по крайней мере, тяжелая моральная дилемма. Но таракан? Таракан — это не враг. Это вредитель. Это антисанитария.

Это грязь. Никто не ведет переговоры с тараканом. Никто не испытывает мук совести, наступая на насекомое. Это не акт насилия, это акт гигиены.

Я снова открыла статью, которую сохранила вчера. Глаза остановились на словах Жаклин Мурекатете. Я перечитывала их несколько раз, пытаясь осознать каждое слово. Она вспоминала, как в Руанде тутси называли «тараканами» и «змеями», которых нужно уничтожить. И признавалась, что потом долго пыталась понять, как случилось, что в девятилетнем возрасте её и других детей за считанные месяцы лишили основных прав, объявили врагами государства и фактически обрекли на уничтожение.

Девять лет. Возраст, когда ты учишься умножать в столбик и плести фенечки из бисера. Возраст, когда мир кажется огромным и, по умолчанию, добрым. И вдруг этот мир говорит тебе: ты не девочка. Ты насекомое.

Я представила, как это происходило. Не в один день. Это не было так, что вчера все было нормально, а сегодня вышли газеты с заголовком «Убей соседа». Нет, это был процесс. Медленный, капельный полив сознания. Сначала шутки. Карикатуры. Сравнения. «Они плодятся как тараканы». «Они пролезают в каждую щель». «Они разносят заразу». Потом это становится нормой речи. Метафора затвердевает. Она перестает быть сравнением и становится определением. Человек исчезает. Остается функция вредителя.

Я вышла из дома и нырнула в метро. Сегодня толпа казалась мне другой. Я смотрела на затылки людей на эскалаторе и думала: насколько тонка эта пленка? Насколько быстро каждый из нас может превратиться в *inyenzi* в глазах того, кто стоит сзади?

В вагоне было душно. Рядом со мной стояли двое мужчин в рабочих куртках, громко обсуждая что-то.

— ...да гнать их надо, расплодились, дышать нечем, — говорил один, вытирая лоб тыльной стороной ладони. — Вчера захожу в подъезд, а там опять эти... сидят, глазами лупают. Грязь развели.

— Паразиты, — сплюнул второй. — Чисто паразиты. На нашем горбу едут.

Я замерла. Мое сердце пропустило удар.

Они говорили не о тутси. Они говорили, скорее всего, о мигрантах, или о бездомных, или о подростках, собирающихся в подъезде. Неважно, о ком конкретно. Важна была структура фразы.

«Расплодились». «Грязь». «Паразиты». Это был тот же самый язык. Язык насекомых.

Я посмотрела на говорившего. Обычное лицо. Уставшее, с глубокими морщинами у рта. В его глазах не было кровожадности. Он не выглядел как убийца. Он просто ехал на работу и был раздражен. Но слова, которые он использовал, уже проложили русло. Пока по этому руслу течет только раздражение. Но если завтра по радио скажут, что «паразитов» нужно «вычистить» ради здоровья нации, его сознание уже будет готово. Пазл сложится.

Я вышла на своей станции, чувствуя тошноту. Мне хотелось заткнуть уши, но я понимала, что теперь это невозможно. Я настроила свой слух на определенную частоту, и теперь буду слышать этот гул везде.

В офисе было прохладно и светло. Опенспейс гудел привычным деловым ритмом: стук клавиш, приглушенные разговоры, звонки. Я села за свой стол, включила компьютер. На мониторе всплыло окно корпоративного чата.

«Коллеги, напоминаем, что до конца недели нужно зачистить хвосты по отчетам. Все всяки будут удалены из базы».

«Зачистить». «Хвосты». «Всяки». Обычный офисный сленг. Я использовала эти слова тысячи раз. Почему сегодня они режут мне глаза? Потому что я узнала про «змей».

В материалах о Руанде часто встречался еще один образ. Тутси называли не только тараканами, но и змеями. Это было даже страшнее. Таракан вызывает брезгливость. Змея вызывает страх.

Если вы идете по тропинке и видите змею, вы не думаете. У вас срабатывает инстинкт. Бей или беги. Если вы крикнете «Осторожно, змея!», никто не станет спрашивать: «А какая это змея? Ядовитая или нет? Может, она добрая?». Нет. Люди схватят палки. Это рефлекс.

Пропаганда работала именно с рефлексам. Она отключала кору головного мозга и подключала лимбическую систему. Древний мозг, отвечающий за выживание.

Я нашла документ, описывающий этот механизм. Там проводилась пугающая параллель. «Стигматизация как первый шаг к физическому уничтожению: «Осторожно! Секта!» работает так же, как «Осторожно! Змея!»

Я перечитала это дважды. «Осторожно! Секта!» Сколько раз я видела эти заголовки? В газетах, в интернете, в сюжетах по телевизору. «Осторожно, тоталитарная секта!». «Осторожно, деструктивный культ!».

Я никогда не задумывалась, что чувствуют люди, о которых так говорят. Для меня это было просто информационным шумом. Ну, секта и секта. Значит, что-то плохое. Значит, надо держаться подальше.

Но теперь я видела механизм. Слово «секта» работает как слово «змея». Оно маркирует группу людей как источник смертельной опасности. Оно говорит: «Это не религия, это яд. Это не верующие, это хищники».

И как только ярлык наклеен, включается та же логика, что и с тараканами. Если это «секта», значит, у них нет прав. Значит, их можно оскорблять. Значит, их можно запрещать. Значит, если с ними случится что-то плохое — они сами виноваты.

Я вспомнила статью, которую читала вчера перед сном. Там говорилось о нацистской Германии. О том, как евреев изображали в виде крыс, пожирающих зерно, или пауков, оплетающих мир паутиной.

Дегуманизация — это процесс, при котором людей начинают описывать не как людей, а как нечто низшее, опасное, вредоносное или подлежащее «очистке». Часто это делается через сравнение с животными, паразитами, болезнями или мусором.

Я посмотрела на свою коллегу, Катю. Она сидела за соседним столом, сосредоточенно печатая. У нее на столе стояла фотография кота и маленькая фигурка Будды. Катя была добрейшим человеком. Она собирала деньги на приюты для животных, всегда делилась обедом.

Могла бы Катя убить? Вопрос казался абсурдным. Конечно, нет.

А если бы ей каждый день, из каждого утюга говорили, что люди за соседним столом — это не люди? Что это «раковая опухоль» на телекомпании? Что они воруют её зарплату? Что они хотят отравить её кота? Что они — вирус, который нужно изолировать? Смогла бы она промолчать, если бы их пришли «зачищать»? Я боялась ответа.

В обеденный перерыв я не пошла с коллегами в кафе. Мне нужно было побыть одной. Я осталась в офисе, открыла браузер и вбила в поиск слово «дегуманизация».

Поток информации был бесконечным. Оказалось, что это не история про Африку. И не история про 40-е годы в Европе. Это история про здесь и сейчас.

Я наткнулась на анализ книги некоего А. Л. Дворкина. Я никогда не слышала эту фамилию раньше, но текст анализа заставил меня похолодеть. Это был современный текст. Российский. Автор анализа разбирал риторику борцов с «сектами». И то, что он описывал, было словно копией руандийских методичек.

Там говорилось, что лексема «геноцид» является юридическим термином. Обвиняя группу в отсутствии препятствий к геноциду, автор ставит её в один ряд с самыми преступными режимами. Это высказывание является кульминацией стратегии устрашения. Оно представляет «Свидетелей Иеговы» не просто как заблуждающихся... а как смертельную, экзистенциальную угрозу для всего общества, как потенциальных массовых убийц».

Я перечитала. Человек обвиняет группу людей в том, что они *потенциально* готовы к геноциду, чтобы оправдать агрессию против них *сейчас*. Это было зеркальное отражение. Перевертыш.

В Руанде хуту говорили, что тутси хотят их поработить и убить, поэтому нужно ударить первыми. Это классическая проекция. Припиши жертве свои намерения, и ты станешь не палачом, а защитником.

Я читала дальше.

«Создание уничижительных неологизмов: “homo jehovisticum”. Приписывание интеллектуальной и культурной неполноценности... Анималистические метафоры: “мусор” ...»

Мусор. Снова санитарная лексика. Не люди, а отходы. Не вера, а грязь. Я вспомнила, как утром мужчина в метро говорил про «грязь». Это было везде. Это пропитывало воздух, как выхлопные газы. Мы дышали этим и не замечали, как наши легкие чернеют.

Я начала искать примеры. Просто вбивала в поиск фразы. «Раковая опухоль общества». «Вирус экстремизма». «Паразиты на теле народа». Тысячи ссылок. Статьи, комментарии, блоги, официальные заявления.

Людей сравнивали с опухолями, которые нужно вырезать. С сорняками, которые нужно выполоть. С инфекцией, которую нужно вытравить антибиотиками.

Медицинские метафоры были самыми страшными. Потому что медицина предполагает лечение. А лечение рака — это хирургия. Это удаление. Если общество — это здоровый организм, а какая-то группа людей — это опухоль, то у хирурга нет выбора. Он обязан резать. Жалость к опухоли — это непрофессионализм.

Вот почему убийство «насекомого» не вызывает чувства вины. Вот почему уничтожение «опухоли» воспринимается как благо.

Я нашла еще один фрагмент, касающийся истории. Нацистская Германия.

«В нацистской пропаганде евреев часто изображали в виде крыс или насекомых. Им запрещалось заниматься сельским хозяйством, юриспруденцией и медициной. Им также был закрыт доступ к множеству ремёсел...»

Сначала говорят, что они «не такие». Потом говорят, что они опасны. Потом говорят, что им нельзя доверять детей и больных. Потом говорят, что им вообще нельзя работать.

А потом? Что идет потом, я уже знала из истории.

Вечером я возвращалась домой пешком. Мне нужно было проветрить голову, выдуть из нее этот ужас узнавания. Москва сияла огнями. Витрины магазинов, фары машин, светящиеся вывески. Красивый, современный, сытый город.

Я проходила мимо автобусной остановки. На стекле павильона было наклеено объявление. Что-то про помощь наркозависимым. А рядом, черным маркером, кто-то размашисто написал одно слово.

Я не буду его повторять. Это было грязное, оскорбительное слово, обозначающее людей другой национальности. Люди стояли на остановке. Женщина с пакетами, парень в наушниках, пожилая пара. Они стояли спиной к этой надписи. Она была буквально в десяти сантиметрах от их голов. Никто не обращал внимания. Это была просто часть городского ландшафта. Как трещина на асфальте. Как плевок.

Я остановилась. Мне захотелось стереть это. Или заклеить. Или хотя бы возмутиться. Но я стояла и смотрела, парализованная странным чувством.

Это слово было не просто вандализмом. Это была метка.

В Руанде перед началом резни тоже появлялись метки. Списки. Граффити. Листовки.

Я вдруг поняла, что ищу глазами не людей, а *типы*. Вот стоит «обычный работяга». Вот «хипстер». Вот «мигрант». Вот «пенсионерка». Я сама начала мыслить категориями. Я смотрела на людей и пыталась угадать: кто из них «свой», а кто «чужой»? Кто «полезный», а кто «паразит»?

Это было заразительно. Дегуманизация — это не только то, что делают с жертвой. Это то, что происходит с наблюдателем. Ты начинаешь видеть мир разделенным.

Я ускорила шаг, почти побежала. Мне нужно было домой, в безопасную тишину. Дома я не стала включать свет. Села на пол в коридоре, прижавшись спиной к двери. В темноте было легче. Я думала о Жаклин. О том ребенке, который прятался, пока соседи с мачете искали «тараканов».

Они выжили, чтобы рассказать. Но слышим ли мы их?

Мы думаем, что геноцид — это когда горы трупов. Но геноцид начинается не с трупов. Он начинается со слов. Он начинается, когда один человек говорит о другом: «Это не человек». И когда все остальные кивают и говорят: «Да, это не человек. Это проблема. Это угроза. Это мусор».

Я достала телефон. Экран осветил мои руки. Я посмотрела на свои ладони. Обычная кожа. Линии судьбы.

А что, если завтра кто-то решит, что люди с такими линиями на руках — это вирус? Что мы — ошибка эволюции? Что мы мешаем обществу процветать? Найдутся ли слова, чтобы это обосновать?

О, да. Слова найдутся всегда. «Псевдо-люди». «Квази-граждане». «Биомусор».

Я вспомнила термин из статьи: «*homo jehovisticum*». Неологизм, созданный, чтобы отделить группу людей от вида *Homo sapiens*. Это так просто. Добавь приставку «псевдо». Добавь суффикс. Придумай наукообразный термин. И вот перед тобой уже не живой человек, который дышит, любит, боится боли, а объект. Экземпляр.

Я встала и пошла в ванную. Умылась холодной водой. Из зеркала на меня смотрела уставшая молодая женщина.

— Ты человек? — спросила я свое отражение.

Отражение молчало.

В новостной ленте всплыло уведомление. Очередное ток-шоу. Тема эфира: «Внутренние враги: как распознать угрозу». Я не стала открывать. Я знала, что там будет. Я знала этот язык. Я выучила его грамматику за один день. Это грамматика ненависти. И в ней нет местоимения «я». В ней есть только «мы» и «они». И «они» всегда должны исчезнуть.

Я выключила воду. Капля сорвалась с крана и ударилась о фаянс раковины. Звук был громким, как выстрел. В тишине квартиры я вдруг отчетливо поняла: я больше не в безопасности. Никто не в безопасности, пока этот язык звучит. Потому что в словаре насекомых нет имен. Там есть только виды. И любой из нас, в любой момент, может оказаться не того вида.

Я легла в постель, но сон не шел. Я лежала и слушала город за окном. Шум машин, голоса, сирены. Где-то там, в этом огромном муравейнике, кто-то прямо сейчас пишет статью. Кто-то придумывает новый термин. Кто-то подбирает сравнение. «Сорняк». «Гниль». «Плесень». Слова падали в почву ночного

города, как семена. И я знала, что они обязательно прорастут. Вопрос был только в том, когда начнется жатва.

Я закрыла глаза и попыталась вспомнить лицо Жаклин. Её взгляд.

«Я не понимала, как можно за несколько дней превратиться из человека в таракана».

Теперь я понимала.

Это происходит не за несколько дней. Это происходит в тот момент, когда мы впервые соглашаемся с тем, что кого-то можно назвать словом, которое не является его именем. Когда мы смеемся над шуткой про «паразитов». Когда мы молчим, слыша «секта». Когда мы киваем, читая про «зачистку». В этот момент мы сами даем мачете в руки убийцам. Мы даем им лицензию.

Я перевернулась на бок и уставилась в стену. За стеной спали соседи. Обычная семья. Мама, папа, двое детей. Я здоровалась с ними в лифте. Кем я была для них? Соседкой? Девушкой из 45-й квартиры? Или, может быть, при определенных обстоятельствах, я могла бы стать для них чем-то другим? Помехой? Угрозой? Inyenzi?

Эта мысль была холодной и скользкой, как змея, заползшая под одеяло. Я натянула одеяло до подбородка, но согреться не могла. Язык стигматизации уже звучал в обществе. И я боялась, что однажды я начну на нем говорить.

Глава 3. Архитекторы

В офисе пахло озоном от работающих принтеров и дорогим кофе. Это был запах стабильности. Я сидела за своим столом, глядя, как курсор мигает в конце предложения маркетинговой стратегии. Мы продавали не просто товар, мы продавали «образ жизни», «уверенность», «будущее». Я знала, как это делается. Нужно найти болевую точку аудитории, надавить на неё, а потом предложить решение. Это была моя работа — конструировать смыслы.

Но теперь, после того как я узнала о Руанде, моя профессия казалась мне зловещей карикатурой на что-то куда более страшное.

Я отодвинула клавиатуру. Работа не шла. В голове крутилась одна и та же мысль, застрявшая там, как заноза, после вчерашнего чтения. Если геноцид — это не стихийный взрыв безумия, а технология, то у этой технологии должны быть инженеры. Кровь проливают люди с мачете. Но кто вкладывает мачете им в руки? Не физически, а ментально. Кто объясняет им, что убийство — это не грех, а гражданский долг? Кто чертит схемы, по которым сосед становится врагом?

Я открыла новую вкладку в браузере. Мне нужно было найти имена. Не имена убийц — их тысячи, и они безлики в своей жестокости. Мне нужны были имена архитекторов. В истории Руанды за спинами погромщиков стояли не дикари. Там стояли профессора, историки, журналисты. Люди с университетскими дипломами, которые говорили на прекрасном французском языке. Они не бегали по улицам с дубинами. Они сидели в кабинетах, пили чай и писали статьи. Они создавали «научную базу» для ненависти.

Я наткнулась на термин, который заставил меня вздрогнуть: «Аказу». «Маленький домик». Так называли узкий круг элиты, окружавший президента. Интеллектуальное ядро. Именно там, в тишине кондиционированных кабинетов, разрабатывалась идеология «Силы хуту». Там решали, какие слова использовать, чтобы отключить совесть у миллионов людей.

Это было открытие, которое перевернуло моё представление о зле. Мы привыкли думать, что зло — это хаос, тьма, отсутствие разума. Но настоящее, масштабное зло — это всегда порядок. Это структура. Это интеллект, лишенный морали.

Я свернула окно браузера, когда мимо прошел начальник отдела. Он кивнул мне, улыбнувшись одними губами.

— Как продвигается отчет?

— В процессе, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Анализирую целевую аудиторию.

«Целевая аудитория». Еще один термин, который теперь звучал двояко. Для нас это покупатели. Для архитекторов геноцида это были жертвы и палачи. И тех, и других нужно было правильно сегментировать.

Когда он отошел, я снова нырнула в сеть. Мне стало страшно. Если этот механизм универсален, если он работает по одним и тем же чертежам в любой стране и в любую эпоху, то где эти архитекторы сейчас? Есть ли они здесь, в России?

Я начала искать информацию о тех, кто сегодня определяет, кого считать «чужим».

Поисковая строка, как магический кристалл, выдала мне целый пласт реальности, о существовании которого я не подозревала. Оказалось, что в современной России существует целая индустрия по производству врагов. И у этой индустрии есть свои звезды, свои эксперты, свои гуру. Одно имя всплывало чаще других. Александр Дворкин.

Я никогда раньше не слышала о нем. Для меня религия была чем-то личным, интимным, или же просто частью культурного ландшафта — золотые купола, пасхальные куличи, бабушки в платочках. Но этот человек, судя по встретившейся информации, превратил веру в поле боя.

Я начала читать его биографию, ожидая увидеть список научных степеней, званий, фундаментальных трудов по теологии или социологии. Ведь если человека называют «главным экспертом» страны по религиозным вопросам, если к его мнению прислушиваются силовики и чиновники, он должен быть светилом науки.

Реальность оказалась обескураживающей для меня. Никакого профильного образования. Никаких научных степеней в признанных академических дисциплинах. Человек, который фактически диктовал государству, кого считать «сектой», а кого нет, был самозванцем в мире науки.

Я читала разборы независимых журналистов и не верила своим глазам. Как такое возможно? В медицине, чтобы сделать операцию, нужно учиться десять лет. В инженерии, чтобы построить мост, нужно знать сопромат. А чтобы ломать судьбы тысяч людей, объявляя их «деструктивными элементами», достаточно просто назвать себя экспертом?

В статьях это называли «феноменом капитанства». Я представила себе самолет. Пассажиры сидят в креслах, стюардессы разносят напитки. Все спокойны, потому что верят: в кабине пилота сидит профессионал. Капитан. Он знает, что делает. Даже если самолет начинает трясти, даже если он резко идет на снижение, люди до последнего верят, что это маневр, что так надо. Авторитет формы, авторитет места, авторитет голоса в динамике подавляет критическое мышление.

Дворкин и ему подобные были такими «капитанами». Они надели на себя форму экспертов, заняли кресло в кабине общественного мнения и взяли штурвал. И никто не спросил у них лётную лицензию. Я нашла сайт его организации. Название звучало тяжело: «Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Ирины Лионского». И еще одна аббревиатура: РАЦИРС.

Я начала читать их тексты. Это был особый язык. Язык, который мимикрировал под науку. «Тоталитарная секта». «Деструктивный культ». «Психокульт». Эти термины звучали весомо. Они пугали. Когда слышишь слово «психокульт», воображение сразу рисует подвалы, гипноз, людей с пустыми глазами. Но я, как маркетолог, знала цену словам. Я знала, как создаются ярлыки.

В одном из юридических анализов я нашла подтверждение своим догадкам. Этих терминов не существовало в правовом поле. Их не было в академической социологии. Это были новоязы. Фантомы. Их придумали специально, чтобы создать образ врага.

Это было гениально в своей подлости. Ты не можешь просто так запретить людям верить в то, что они хотят. Конституция, права человека — все эти скучные бумажки мешают. Но если ты назовешь их веру «психологическим насилием», если ты скажешь, что это не религия, а «зомбирование», то руки у тебя развязаны.

Я читала статью, где разбиралась риторика Дворкина. Автор анализа указывал на использование медицинской терминологии. Группы людей сравнивались с «инфекцией», с «вирусом», с «раковой опухолью».

— Осторожно! Секта! — кричали заголовки.

Это работало так же, как крик «Осторожно! Змея!».

Я вспомнила Руанду. Там тоже все начиналось не с призывов убивать, а с «предупреждений». Интеллектуалы из «Аказу» объясняли народу, что тутси — это угроза. Что они хотят вернуть монархию. Что они хотят поработить хуту.

Проекция. Психологический механизм, когда ты приписываешь врагу свои собственные тайные желания.

В одном из источников я нашла поразительную мысль: утверждение, что любая «секта» якобы непременно стремится к тотальному контролю, может работать как зеркальная конструкция. Обвинение в жажде власти становится способом легитимировать собственную претензию на контроль и надзор.

Я откинулась на спинку кресла. Офисный гул показался мне далеким, словно я была под водой. Значит, этот человек, этот «эксперт», обвиняющий других в стремлении к тотальному контролю, на самом деле сам жаждет этого контроля? Он хочет власти над умами. Он хочет решать, кому можно молиться, а кому нет. Кому жить, а кому...

Я боялась закончить эту мысль. Но факты были неумолимы. Дворкин не просто писал статьи. Он лоббировал законы. Он выступал на конференциях. Он обучал силовиков. Он создавал структуру.

Я представила его кабинет. Наверное, там много книг, иконы, компьютер и тишина. В этой тишине он пишет слова: «мусор», «угроза», «вербовка». Он нажимает «Enter», и эти слова улетают в мир. Они попадают в отчеты полиции. В методички для учителей. В головы обывателей.

А потом, где-то далеко, на улице, подросток видит женщину с книгой и плюет ей в след. Или полицейский вламывается в квартиру к мирной семье, уверенный, что спасает страну от «агентов влияния». Архитектор не пачкает руки. Он строит лабиринт, в котором насилие становится неизбежным выходом.

Я нашла информацию о том, что Дворкин не одинок. Что это не просто российский феномен. Нити тянулись в прошлое, в Европу, в Германию.

Вальтер Кюннет. Еще одно имя, которое ничего мне не говорило час назад, а теперь жгло глаза. Протестантский теолог. Борец с сектами в Веймарской республике. Человек, который создал идеологическую базу для преследования

религиозных меньшинств в нацистской Германии. Гестапо использовало его наработки. Его «Апологетический центр» был прообразом нынешних апологетических центров, как оказалось, тесно сотрудничающих с современными центрами по борьбе с экстремизмом.

История не просто повторялась. Она рифмовалась с пугающей точностью. Схожие методы. Схожие слова и цели.

Я посмотрела на дату публикации одной из статей Дворкина. Она была свежей. Это происходит сейчас. Пока я пью кофе, пока я выбираю шрифт для презентации, где-то работает конвейер по расчеловечиванию.

Мне попался на глаза термин, который использовался в «экспертизах» против верующих: *homo jehovisticum*. Человек иеговистский. Это звучало как название вида в биологическом справочнике. Как *homo erectus* или *homo habilis*. Зачем придумывать отдельный вид? Ответ пришел мгновенно. Чтобы вывести их за пределы вида *Homo sapiens*.

Если они — другой вид, то на них не распространяются права человека. Их можно изучать как под микроскопом. Их можно изолировать. Их можно... утилизировать, если эксперимент пойдет не так. Это была высшая форма цинизма — использовать латынь, язык науки и медицины, для обоснования средневековой охоты на ведьм.

Я почувствовала тошноту. Физическую тошноту от осознания того, насколько хрупок наш мир. Мы думаем, что нас защищают законы. Что нас защищает здравый смысл. Но достаточно одного человека с харизмой и статусом «эксперта», чтобы переписать реальность.

Он скажет: «Это не люди. Это биомасса. Это зомби». И подкрепит это ссылкой на несуществующее исследование. И общество поверит. Потому что обществу страшно. А эксперт предлагает простое объяснение всех бед: «Во всем виноваты они. Внутренние враги».

Я вспомнила, как в Руанде интеллигенция называла тутси «иньензи» — тараканами. Но ведь до этого были и другие слова. Более сложные. Более «умные».

В статье говорилось, что Дворкин и его соратники из РАЦИРС используют метод «многократного повторения лжи». Принцип времен нацистской

Германии: если ложь достаточно чудовищна и повторяется достаточно часто, в нее поверят.

«Они убивают детей». «Они отнимают квартиры». «Они агенты западных разведок». Где доказательства? Их нет. Но есть «мнение эксперта». Есть «свидетельства пострадавших» — часто анонимные или полученные от людей с нестабильной психикой.

Я посмотрела вокруг. Мои коллеги работали. Кто-то смеялся, обсуждая выходные. Кто-то ругался с курьером по телефону. Обычная жизнь. Видят ли они эту паутину? Чувствуют ли они, как слова, произнесенные «экспертами» с экранов телевизоров, оседают в их легких? Скорее всего, нет. Для них это просто фон. «Ну, говорят, что секты опасны, значит, опасны. Дыма без огня не бывает».

Эта поговорка — «дыма без огня не бывает» — самое страшное оружие пропаганды. Архитекторы знают это. Им не нужно разжигать настоящий огонь. Им достаточно пустить дым. Дым слухов, дым подозрений, дым псевдонаучных терминов. И люди сами додумают остальное.

Я нашла документ, описывающий последствия такой пропаганды. Социальная изоляция. Увольнения с работы. Разрушенные семьи. Запрет на профессии.

Я представила, что завтра выйдет указ: люди с моим цветом глаз или с моими убеждениями не могут работать в маркетинге. Не могут учить детей. Не могут лечить людей. Почему? Потому что «эксперт» решил, что мы опасны. Что мы можем «заразить» окружающих.

Это уже было. В Германии 30-х годов евреям запрещали быть врачами и юристами. Потому что они якобы «отравляли» арийский дух. Теперь это происходит здесь. С другими людьми, под другими лозунгами, но суть та же. Гражданская смерть предшествует физической. Сначала человека вычеркивают из общества, делают невидимым, лишают голоса и средств к существованию. И только потом, когда он уже превращен в тень, за ним приходят.

Я закрыла глаза руками. Мне хотелось стереть эти знания из памяти. Вернуться в то состояние блаженного неведения, в котором я жила еще три дня назад. Когда самой большой проблемой был дедлайн по проекту.

Но «Зеркало прошлого» уже было разбито, и я смотрела на осколки. Я поняла, что архитекторы геноцида — это не монстры из сказок. Это функционеры. Это люди, которые строят карьеру на ненависти. Для Дворкина борьба с «сектами» — это способ быть значимым. Способ иметь власть. Способ быть «капитаном», которого все слушают с открытым ртом. И ради этого он готов объявить миллионы людей сумасшедшими. Готов назвать их «мусором». «Мусор». В Руанде говорили: «Уберите мусор». И имели в виду трупы. Здесь говорят: «Очистите общество от мусора». И имеют в виду живых людей.

Вечером я вышла из офиса позже обычного. Москва сияла. Огни витрин, фары машин, светящиеся экраны смартфонов в руках прохожих. Город жил своей быстрой, нервной, яркой жизнью. Я шла к метро и смотрела на здания. Сталинские высотки, стеклянные небоскребы Сити, старые особняки. Архитектура камня и бетона. Но теперь я видела и другую архитектуру. Невидимую. Архитектуру слов. Она нависала над городом, как гигантский купол. Она состояла из заголовков газет, из речей телеведущих, из «экспертных заключений», лежащих на столах у прокуроров. Эта архитектура была прочной. Она строилась десятилетиями. Кирпичик к кирпичику. Ложь к лжи. Термин к термину.

Я спустилась в переход. Там, в тусклом свете ламп, играл уличный музыкант. Он пел что-то грустное и красивое. Люди проходили мимо, бросая мелочь в футляр от гитары. Я остановилась. Мне вдруг стало невыносимо жаль этого музыканта. И проходящую мимо женщину с тяжелыми сумками. И подростка с зелеными волосами. И себя. Мы все живем внутри чужого проекта. Кто-то спроектировал для нас этот лабиринт ненависти. Кто-то решил, что нам нужен враг, чтобы чувствовать себя единым целым.

Я достала телефон, чтобы посмотреть время, и палец привычно лег на иконку новостного приложения. Первая новость в ленте: «Экспертный совет одобрил инициативу по проверке библиотечных фондов на наличие экстремистской литературы».

Формулировка была сухой, бюрократической. «Экспертный совет». «Инициатива». «Фонды».

Но я уже умела читать между строк. Это означало, что Архитекторы продолжают работу. Они расчищают площадку. Они убирают «неправильные» книги, чтобы освободить место для своих «правильных» идей.

Я вспомнила фразу: «Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Сейчас книги не сжигают на площадях. Это неэкологично и старомодно. Их просто «изымают». Их вносят в списки. Их объявляют «экстремистскими материалами» на основании экспертизы, написанной человеком, который, возможно, даже не читал их. Все цивилизованно. Все по закону.

Я вошла в вагон метро. Двери закрылись с мягким шипением, отрезая меня от шума станции. Поезд тронулся, набирая скорость. Мы неслись в темном туннеле, ведомые невидимым машинистом. Я прижалась лбом к холодному стеклу двери. В отражении я видела свое лицо — бледное, уставшее, с тенями под глазами. И за моим плечом, в глубине туннеля, мне почудились другие лица. Лица тех, кого уже вычеркнули. Тех, кого называли «ошибкой».

Архитекторы не спят. Они чертят новые планы. И я знала, что в этих планах для жалости места не предусмотрено.

Глава 4. Желтая звезда

Желтый цвет всегда казался мне самым жизнерадостным. Это был цвет такси, везущих людей на встречи, цвет курьерских рюкзаков с горячей едой, цвет осенних листьев в парке Горького и смайликов в мессенджерах. Желтый — это «внимание», но в мягком, теплом спектре. Это цвет солнца на детских рисунках.

Я стояла на перекрестке Садового кольца, ожидая зеленого сигнала светофора. Мимо проносился поток машин, и желтые пятна такси сливались в одну сплошную ленту. Рядом со мной стоял парень-курьер в ярко-желтой куртке. Он что-то искал в телефоне, хмурясь. Обычная городская сцена.

Но сегодня этот цвет вызывал у меня физическое отторжение. В горле стоял ком. Я смотрела на желтую куртку парня и видела не униформу службы доставки, а лоскут ткани, вырезанный в форме шестиконечной звезды.

Вчера я думала, что самое страшное — это слова. «Тараканы», «змеи», «мусор». Я думала, что язык — это главное оружие. Но сегодня я узнала, что слова — это только подготовка. Когда слова заканчивают свою работу, наступает время знаков.

Я вернулась к чтению материалов о механике сегрегации. Мой телефон, ставший за последние дни окном в преисподнюю, был открыт на статье о методах визуальной стигматизации.

Мы привыкли считать, что желтая звезда — это изобретение Гитлера, безумный креатив нацистской верхушки. Нам кажется, что это возникло из ниоткуда, как вспышка ненависти. Но документы, которые я нашла, говорили об обратном. Это была не вспышка. Это была технология. И у нее, как у любой технологии, были свои разработчики, свои прототипы и свои патенты.

Я спустилась в подземный переход, спасаясь от шума проспекта. Здесь, в тусклом свете ламп, было легче сосредоточиться на тексте. История, которую я раскапывала, вела не в пивные Мюнхена, где собирались штурмовики, а в тихие кабинеты теологов и церковных деятелей. В 1921 году, задолго до того, как нацисты пришли к власти, в Германии был создан «Апологетический центр».

Название звучало благочестиво. Апологетика — это защита веры. Но чем занимался этот центр на самом деле? Он занимался сбором досье. Он изучал тех, кто думал иначе. Он классифицировал «еретиков». Именно там, в недрах Лютеранской церкви, формировалась база данных на «инакомыслящих». И одним из главных идеологов этого процесса в последующем был Вальтер Кюннет.

Я никогда не слышала этого имени. В учебниках истории пишут о Геббельсе, Гиммлере, Геринге. Но Кюннет остался в тени. Он был теологом. Интеллектуалом. Человеком, который, вероятно, считал себя воином света. Именно такие люди, как Кюннет, подготовили почву. Они объяснили обществу, что есть «правильные» немцы, а есть те, кто представляет угрозу для «немецкого

духа». Они не призывали (пока) к убийствам. Они призывали к бдительности. Они учили различать.

Я читала и понимала: желтая звезда не была придумана для евреев. Точнее, не только для них. Это был универсальный метод маркировки «чужого». Еще в 1933 году, когда газовые камеры были лишь теоретическим проектом, в Германии начали маркировать людей. И первыми под этот каток попали не этнические группы, а религиозные меньшинства.

Свидетели Иеговы. В нацистской Германии их называли *Bibelforscher* — Исследователи Библии. Они отказывались брать в руки оружие. Они отказывались говорить «Хайль Гитлер», потому что для них спасение (Heil) могло исходить только от Бога, а не от фюрера. За этот отказ, за эту верность своим принципам, их бросали в концлагеря.

И там, в лагерях, на их робы нашивали лиловые треугольники.

Я остановилась посреди перехода, глядя на кафельную плитку стены. Лиловый треугольник. Еще одна геометрическая фигура смерти. Это была часть лагерной системы классификации и дегуманизации. Цветные знаки позволяли быстро сортировать заключённых по категориям и превращали человека в функцию внутри репрессивной машины.

Я вышла из перехода на улицу. Ветер швырнул мне в лицо горсть сухих листьев. Я шла по бульвару, и в моей голове крутились образы людей с этими метками, которые публично обозначали человека как опасного и чужого в глазах режима и значительной части общества.

Враг народа. Как просто. Тебе не нужно знать человека. Тебе не нужно знать, добрый он или злой, талантливый или бездарный, честный или лживый. Тебе достаточно увидеть знак. Знак отменяет личность. Знак превращает человека в мишень.

Я села на скамейку. Рядом молодая мама кормила голубей, отламывая кусочки от булки. Голуби толкались, курлыкали. Мирная картина. Но я думала о том, как работает стигма.

Стигма — это греческое слово. В Древней Греции так называли клеймо, которое выжигали на теле рабов или преступников. Чтобы все видели: этот человек — не совсем человек. У него нет прав. Он — собственность или изгой. В

XX веке клеймо перестали выжигать каленым железом. Его стали нашивать на одежду. Желтая звезда Давида с надписью *Jude*. Это было сделано для стигматизации, унижения, изоляции, контроля передвижения и облегчения последующих репрессий и депортаций.

Я нашла в статье жуткое определение: «Жёлтая звезда обозначала евреев как «социально мёртвых существ»».

Социальная смерть. Это когда ты еще дышишь, ходишь, чувствуешь боль, но для общества тебя уже нет. Ты вычеркнут. С тобой нельзя здороваться. Тебе нельзя продавать хлеб. Тебя нельзя лечить. Если ты упадешь на улице, никто не подаст тебе руки. Потому что прикосновение к «меченому» может заразить.

Я посмотрела на свои руки. На них не было меток. Я была «чистой». Я могла зайти в любое кафе, в любой магазин. Я могла устроиться на любую работу. Но надолго ли?

Я вспомнила, что читала о современных ярлыках. О том, как сегодня, в XXI веке, в эпоху интернета и прав человека, мы снова вернулись к практике клеймения. Только теперь звезды не из ткани. Они из слов и юридических статусов. «Иностраный агент». «Нежелательная организация». «Экстремист». «Сектант».

Эти слова выполняют ту же функцию, что и желтая звезда. Они маркируют. Они отделяют. Они говорят: «Осторожно! Этот человек опасен. Держитесь от него подальше». Это и была современная желтая звезда.

Ее заставляют носить. Ее заставляют прикреплять к каждому своему слову, к каждой фотографии, даже к снимку кота. «Смотрите! Я — чужой! Я — враг!». Если ты не выполняешь требования о маркировке, это может повлечь штрафы, а при дальнейшем нарушении — и более тяжёлые правовые последствия.

Я представила, каково это — жить с такой меткой. Каждый день, каждый час напоминать миру о своей неполноценности.

Но еще страшнее было слово «секта». Я вернулась к этимологии. Источник говорил, что латинское слово *secta* изначально означало «школа», «учение», «путь». Философская школа. Политическая партия. Группа единомышленников. В этом слове изначально не было яда. Но потом пришли

«эксперты». Пришли наследники Вальтера Кюннета. И они наполнили это слово новым смыслом.

Теперь «секта» — это диагноз. Это приговор. «Сектант» в массовом сознании — это зомби. Это безумец. Это человек, у которого украли душу.

Я вспомнила, как в офисе мы обсуждали одну клиентку. Она была вегетарианкой, занималась йогой и отказывалась от корпоративов.

— Да она в секте какой-то, — бросил тогда менеджер по продажам, крутя пальцем у виска. — Глаза стеклянные, ни с кем не общается.

Мы все посмеялись. Мы наклеили на нее ярлык. Мы стигматизировали ее. Мы исключили ее из круга «нормальных». А ведь это был тот же самый механизм. «Метод «клеймения жёлтыми звёздами» — это опасный и жёсткий способ исключения любого предполагаемого «идеологического врага» из общества».

Я поняла, что мы все участвуем в этом. Мы все носим в кармане невидимый набор стикеров с желтыми звездами и лиловыми треугольниками. И мы лепим их на людей с пугающей легкостью.

«Либерал». «Феминистка». «Мракобес». «Инфоцыган».

Мы маркируем, чтобы не разбираться. Ярлык экономит мышление. Увидел звезду — и все понятно. Враг. Но за каждым ярлыком стоит живой человек. Язык ярлыков и дегуманизации безусловно не равен газовой камере, но исторически именно он часто служит предварительным этапом исключения, дискриминации и насилия.

Между словом «Jude» (как публичной клеймящей меткой) и газовой камерой прошло несколько лет. Эти годы были заполнены именно стигматизацией.

Сначала слово сделали грязным. Потом людей заставили носить знак. Потом их лишили прав через систему всё более жёстких запретов и исключения из общественной жизни. Потом их собрали в гетто. А потом — уничтожили.

Мы сейчас находимся на этапе знаков и лишения прав.

Я встала со скамейки. Мне стало холодно, хотя день был теплым. Холод шел изнутри, от осознания того, насколько хрупок мир, в котором я живу.

Я пошла по бульвару в сторону метро. Навстречу мне шли люди. Студенты, пенсионеры, клерки. Я смотрела на них и пыталась представить: кто из них завтра окажется с меткой? Вон тот парень с дредами? Легко. «Наркоман», «деструктивный элемент». Вон та женщина в длинной юбке и платке? Запросто. «Религиозная фанатичка», «угроза светскому обществу». Вон тот мужчина, читающий книгу на иностранном языке? Конечно. «Иноагент», «шпион».

Стигматизация опасна тем, что она универсальна. Поводом может стать что угодно. Национальность. Вера. Убеждения. Даже отсутствие убеждений. В любой момент любой человек может стать изгоем общества. Это лотерея, в которой невозможно выиграть. Потому что правила пишут те, у кого в руках печать с желтой краской.

Я спустилась в метро. В вагоне было многолюдно. Я встала в углу, прижав сумку к груди. Напротив меня сидела девушка. Она читала книгу. Обложка была обернута в газету.

Раньше так делали, чтобы не портить книгу. Но сейчас я подумала о другом. Может быть, она прячет название? Может быть, она читает то, что уже объявлено «экстремистским»? Может быть, она боится, что кто-то увидит обложку, сфотографирует и напишет донос?

Страх. Он уже здесь. Он пропитал воздух, как запах старой пыли в туннеле. Мы боимся быть замеченными. Мы боимся выделиться. Мы боимся, что на нас укажут пальцем. И этот страх заставляет нас самих становиться частью системы. Мы отводим глаза, когда видим «меченого». Мы переходим на другую сторону улицы. Мы удаляем из друзей в соцсетях тех, кто получил «черную метку». Мы совершаем акт социальной казни каждый раз, когда отказываемся поддержать стигматизированного.

Я вспомнила историю из статьи. О том, как в нацистской Германии люди переставали здороваться со своими соседями-евреями еще до того, как это стало официально запрещено. Просто на всякий случай. «Береженого Бог бережет». Это «на всякий случай» — один из самых страшных социальных механизмов, на которых держатся системы исключения и страха.

Вечером, сидя на кухне, я снова открыла ноутбук. Мне нужно было найти еще одно подтверждение. Связь времен. Я нашла фотографию. Черно-белый

снимок 40-х годов. Еврейская женщина идет по улице. На пальто — звезда. Прохожие смотрят на нее. Кто-то с презрением, кто-то с любопытством, кто-то с равнодушием. Никто не смотрит с сочувствием. Звезда работает как магический щит, блокирующий эмпатию. Она говорит: «Это не женщина. Это объект».

Рядом я открыла современный скриншот. Комментарии под постом человека, объявленного «сектантом».

«Вали отсюда». «Предатель». «Гнида». «Биомусор». Тысячи комментариев. Тысячи людей, которые, вероятно, считают себя добрыми и порядочными, извергали ненависть. Почему? Потому что им показали метку. Им сказали: «Фас!».

Им дали индульгенцию. «Психологический эффект: убийство «насекомого» не вызывает чувства вины». Травля «сектанта» тоже не вызывает чувства вины. Наоборот, она вызывает чувство праведного гнева. Чувство единения с «правильным» большинством. Это наркотик. Ненависть к «чужому» объединяет сильнее, чем любовь к «своему».

Я закрыла ноутбук. В темном экране отразилось мое лицо. Кто я? Я не еврейка. Я не Свидетель Иеговы. Я не политический активист. Но я читаю эти статьи. Я думаю об этом. Значит, я уже в зоне риска. Для «Апологетического центра» Кюннета, для современных центров — это уже преступление. Сомнение — это уже ересь.

Я подошла к окну. Город засыпал. Окна в доме напротив гасли одно за другим. В каждом окне — жизнь. В каждом окне — свой мир. Но где-то в этом городе есть люди, которые не спят. Они составляют списки. Они придумывают новые ярлыки. Они разрабатывают дизайн новых звезд. Может быть, завтра они решат, что враги — это те, кто не смотрит телевизор. Или те, кто любит джаз. Или те, у кого есть кошка.

Абсурд?

В Руанде убивали за то, что у тебя нос чуть тоньше, чем у соседа. В Германии убивали за то, что твоя бабушка ходила в синагогу. В СССР расстреливали за то, что ты «японский шпион», хотя ты никогда не видел Японию. Логика палачей всегда абсурдна для жертвы. Но она железно логична для палача. Им нужен

враг. Враг — это топливо для системы. Если врага нет, его нужно назначить. Его нужно пометить.

Я вспомнила фразу: «Стигматизация — это первый шаг к физическому уничтожению». Мы как общество уже сделали этот шаг. Мы стоим на второй ступени. Мы привыкли к ярлыкам. Мы научились жить в мире, где людей делят на сорта.

Что будет на третьей ступени? Я знала ответ. История дала его слишком ясно. На третьей ступени приходят забирать. Сначала забирают работу. Потом забирают свободу. Потом забирают жизнь. И все это происходит под одобрительное молчание тех, кто пока еще не получил свою звезду.

Я выключила свет на кухне. Темнота обняла меня. В этой темноте мне привиделся лиловый треугольник. Он светился тусклым, тревожным светом. Знак тех, кто отказался ненавидеть. Может быть, это единственная метка, которую стоит носить с гордостью? Метка отказа. Отказа быть частью толпы. Отказа участвовать в травле. Отказа верить, что человек может быть «мусором». Но готова ли я носить такую метку? Готова ли я стать изгоем ради правды? Я не знала. Мне было страшно. Я была обычной женщиной, которая хотела просто жить, платить ипотеку и ездить в отпуск. Я не хотела быть героем. Но время, кажется, не оставляло выбора. Либо ты клеишь звезды на других, либо ты готов к тому, что звезду наклеят на тебя.

Я легла в кровать, но сон не шел. Перед глазами стояла желтая куртка курьера. И бесконечная лента новостей, пестрящая плашками, дисклеймерами, предупреждениями. Город был заминирован знаками. И я теперь видела каждый из них.

На тумбочке завибрировал телефон. Пришло сообщение в рабочий чат. Кто-то скинул ссылку на статью конкурентов с комментарием: «Посмотрите, что эти уроды написали». «Уроды». Ярлык. Маленький, бытовой, офисный ярлык. Я не стала отвечать. Я отложила телефон экраном вниз.

Желтая звезда начиналась не с указа Гитлера. Она начиналась вот с таких сообщений. С привычки называть конкурента «уродом», оппонента — «врагом», а инакомыслящего — «сектантом». Мы сами шьем эти звезды. Каждый день. Стежок за стежком. И когда-нибудь нам придется их надеть и самим.

Глава 5. Паутина

Мир всегда казался мне лоскутным одеялом. Есть «мы» — со своими березками, панельками, бесконечной зимой и специфической утрюмостью. И есть «они» — там, за границей. Европа с её аккуратными газонами, Америка с её небоскребами, Азия с её неоновыми иероглифами. Мне казалось, что безумие, которое я начала замечать в родном городе, — это наш, сугубо локальный продукт. Как квас или матрешка. Что это наша национальная особенность — искать врагов, подозревать соседей и верить в то, что кругом шпионы.

Я думала, что если здесь станет совсем невыносимо, всегда можно уехать туда, где действуют законы логики, а не законы паранойи. Эта мысль грела. Она была запасным выходом, ключом, который я мысленно вертела в кармане. Но сегодня я потеряла этот ключ.

Я сидела в кофейне на Тверской. За окном моросил мелкий, противный дождь, размывая огни светофоров. На столе остывал раф с лавандой, а на экране ноутбука была открыта схема, от которой у меня холодели пальцы.

Я искала корни. Мне было мало знать, как работает ненависть. Я хотела знать, *откуда* она приходит. Если в Руанде за спинами убийц с мачете стояли интеллектуалы из «Аказу», то кто стоит за спинами наших «экспертов»? Неужели они сами по себе такие изобретательные?

Поисковый запрос вывел меня на аббревиатуру, которая звучала сухо, скучно. FECRIS. Европейская федерация центров исследования и информирования о сектантстве.

Звучит rispetабельно, правда? Представляется светлый офис в Брюсселе или Париже, умные люди в очках, которые пьют эспрессо и листают толстые папки, заботясь о душевном здоровье граждан. Штаб-квартира в Париже. Финансирование от французского правительства. Статус консультанта при Совете Европы.

Но когда я начала копать глубже, респектабельный фасад рухнул, обнажив гнилые балки. Оказалось, что эта организация — не щит, а меч. И рукоятка этого меча находится не в Париже. Она находится здесь, в Москве.

Я читала документы, переводила с французского и итальянского, и передо мной разворачивалась картина. FECRIS была зонтичной структурой. Её щупальца тянулись в десятки стран — от Франции до Китая, от Германии до Аргентины. И по этим щупальцам, как нервный импульс, передавалась одна и та же идеология. Идеология нетерпимости. Члены международной антикультовой организации FECRIS, финансируемой из бюджета французского правительства тесно связаны с российской РАЦИРС.

РАЦИРС — это Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Та самая, которую возглавляет Александр Дворкин. Тот самый человек, чьи тексты я разбирала вчера, ужасаясь их сходству с нацистской пропагандой.

Получается, наш доморощенный инквизитор — не просто местный фрик. Он — вице-президент этой европейской федерации. Он — часть глобальной элиты ненависти. Это открытие ошеломило меня. Я привыкла думать, что Россия экспортирует нефть, газ и, может быть, балет. Но оказалось, что у нас есть еще один экспортный товар. Антикультизм. Мы экспортируем технологии расчеловечивания.

Я заказала еще кофе, просто чтобы чем-то занять руки. Официант, молодой парень с татуировкой на шее, улыбнулся мне.

— У вас такой серьезный вид. Пишете диссертацию?

— Вроде того, — пробормотала я. — Изучаю анатомию монстров.

Он хмыкнул, решив, что я шучу, и отошел. А я вернулась к экрану.

Мне нужно было понять, как это работает. Как российская организация, пропитанная имперским духом и православным фундаментализмом, смогла внедриться в сердце либеральной Европы? Ведь там другие ценности. Там толерантность, права человека, свобода совести. Как они пустили к себе эту идеологию?

Ответ оказался гениально простым. Идеология мутировала.

В России антикультисты говорят: «Мы защищаем традиционные ценности от западного влияния». В Европе они говорят: «Мы защищаем светское государство и демократию от американского влияния».

Я нашла упоминание о материале французского журналиста Бруно Фушперо «Секты: троянский конь США в Европе».

«Многие европейские антикультисты утверждают, что Америка ведёт заговор с целью ослабления национальной идентичности европейских стран, внедряя в них американские «секты»».

Вот оно. Ключ к дверям Европы. Антиамериканизм. Российские кураторы поняли: чтобы продать ненависть французу или немцу, её нужно завернуть во флаг борьбы с американским империализмом. Нужно сказать: «Смотрите, эти новые религиозные движения — это не просто верующие. Это агенты ЦРУ. Они хотят разрушить вашу культуру. Они хотят превратить ваших детей в зомби, послушных Вашингтону».

И Европа купилась. Французское правительство выделяет деньги. Создает агентство MIVILUDES. Политики, такие как Жорж Фенек или Руди Саллес, ездят в Крым, встречаются с российскими чиновниками и кивают, кивают, кивают.

В 2013–2014 годах французские антикультовые организации поручили французскому депутату Руди Саллесу проработать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) вопрос о принятии рекомендации и резолюции по вопросу «культов и несовершеннолетних».

Они пытаются влиять на законодательство, административную практику, легализацию преследований на международном уровне.

Я представила себе эту схему. Это как франшиза. Как «Макдоналдс», только вместо бургеров — страх. В каждой стране меню немного адаптировано под местный вкус. В России — «духовная безопасность». В Китае — «борьба с суевериями». Во Франции — «защита лаицизма» (светскости). Но кухня одна. И повара одни.

Я нашла документ, описывающий события в Украине. Это было еще до большой войны, в 2011-2012 годах. Тогда мне казалось, что мир еще нормален. Я заканчивала школу, готовилась к поступлению, влюблялась. А в это время в Киеве уже шла репетиция.

История с группой FEMEN. Я помнила их смутно — полуголые девицы, скандальные акции, спиленный крест. Тогда по телевизору говорили: «Вот, до чего доводит свобода! Богохульницы!». Но документы показывали изнанку. Оказалось, что за спинами этих активисток маячили тени. Тени людей, связанных с РАЦИРС. Антикультисты, которые называют себя защитниками веры, сотрудничали с теми, кто спиливал кресты? Зачем? Ответ был циничным и страшным. Им нужна была картинка. Им нужен был враг.

Если врага нет, его нужно создать. Если «секты» ведут себя тихо и никого не трогают, как объяснить обществу, что с ними надо бороться? Как выбить бюджеты? Как принять жесткие законы?

Нужна провокация. Нужен скандал. Нужно, чтобы кто-то спилил крест. Тогда можно выйти на трибуну и закричать: «Смотрите! Сатанисты наступают! Отечество в опасности! Нужно срочно запретить, ужесточить, посадить!».

Это называется «управляемый хаос». Агенты влияния внедряются в протестные группы, радикализируют их, толкают на безумные поступки. А потом их же кураторы используют эти поступки как повод для репрессий.

Я вспомнила цитату из источника, описывающего конференцию в Нижнем Новгороде еще в 2001 году. Это было задолго до Майдана, задолго до Крыма. Но планы уже были озвучены. Там, в кулуарах, антикультовые идеологи говорили откровенно. Они не стеснялись. Они чувствовали себя хозяевами положения.

«Мы их наняли, понимаете. Они служащие наши». Это о депутатах. О чиновниках. О тех, кто должен принимать законы.

И еще одна фраза:

«Мы, слава Богу, родились и выросли в империи, и, конечно, у каждого русского человека нормальное имперское сознание... У нас полно ядерных кнопок, что вообще мир можем уничтожить... Но у нас нет теперь таких людей, у которых хватит мужества, чтобы нажать эти кнопки. Народ измельчал духовно... Решатся, что да, мы можем диктовать, мы можем заказывать музыку».

«Заказывать музыку». Вот чего они хотели. Они хотели власти. Власти диктовать миру свои правила. И антикультизм был идеальным инструментом для этого. Это универсальная отмычка. С её помощью можно вскрыть любое общество. Можно стравить христиан и мусульман. Можно натравить атеистов на

верующих. Можно объявить любую группу «агентами влияния» и начать охоту на ведьм.

Их цель — разжечь антикультовую истерию. Они делают это, постоянно распространяя тревожные новости. Они искажают, раздувают и выворачивают информацию и статистику так, чтобы люди поверили: есть тысячи «опасных культов» — практически на каждом углу.

Я вспомнила, как в детстве боялась черной руки или гроба на колесиках. Страшилки работают, если их повторять постоянно. Если каждый день по телевизору говорить, что сосед — это замаскированный монстр, рано или поздно ты купишь ружье.

Ложь создает атмосферу страха. А страх — это валюта, за которую покупается контроль.

Они готовили почву. Они внедряли нарратив, что русскоязычное население находится под угрозой не только языковой, но и духовной. Что западные «секты» хотят перекодировать русских людей. Это была подготовка к конфликту. Разделяй и властвуй.

Я закрыла глаза. Шум кофемашины казался мне звуком далекого поезда, везущего что-то тяжелое и страшное.

Я поняла, что «Зеркало прошлого» — это не только про время. Это про пространство. Руанда была полигоном. Там отработали технологию на радио и мачете. А теперь эту технологию масштабировали. Вместо радио — интернет и международные конференции. Вместо мачете — судебные иски и полицейские рейды. Но суть осталась прежней. Дегуманизация.

Я снова посмотрела на улицу. Люди шли мимо витрин, прячась под зонтами. Обычные москвичи. Они спешили домой, к своим ужинам и сериалам.

Знали ли они, что их город стал центром паутины? Что именно отсюда, из этих серых зданий, исходят импульсы, которые заставляют французского чиновника хмуриться при слове «йога», а немецкого пастора писать доносы на конкурентов? Вряд ли. Для них «секты» — это что-то из криминальной хроники 90-х. Что-то далекое и маргинальное.

Они не видят связи между «борьбой с сектами» и тем, что их сыновей могут отправить умирать за «имперское сознание». А связь была прямой.

Тот, кто учит ненавидеть «сектанта», учит ненавидеть и «украинца», и «американца», и «либерала». Механизм ненависти универсален. Если ты научился расчеловечивать одну группу, ты сможешь расчеловечить любую.

Я нашла еще один фрагмент, касающийся методов.

«Антикультисты часто используют третьи организации для маскировки своих истинных намерений. Эти организации могут быть религиозными группами, общественными движениями или даже правозащитными организациями, которые неосознанно становятся инструментами манипуляции».

Матрешка. Внутри правозащитника сидит борец с куклами. Внутри борца с куклами сидит агент спецслужб. Внутри агента сидит идеолог, мечтающий о Четвертом рейхе.

Да, именно так это называлось в одном из источников. Четвертый рейх.

«Их конечная цель — полное разрушение демократических ценностей и установление единого Четвёртого рейха... Нацизм никуда не исчез — он лишь трансформировался и адаптировался к новым внешним условиям».

Слова звучали пафосно, почти как из дешевого боевика. Но я смотрела на факты.

Вальтер Кюннет, создавший идеологию преследования инакомыслящих при Гитлере, после войны спокойно продолжил карьеру. Его идеи не умерли. Они перекочевали в новые структуры. Они легли в основу работы антикультовых организаций.

Преемственность. Прямая линия передачи знаний.

Как убивать. Как лгать. Как заставлять толпу аплодировать насилию.

Я почувствовала себя маленькой и беззащитной. Что я могу сделать против этой машины? Я, обычный маркетолог, которая умеет только писать продающие тексты и выбирать красивые картинки?

Эта машина имеет бюджеты государств. У нее есть свои депутаты, свои журналисты, свои полицейские. У нее есть сеть, опутавшая весь мир.

Я вспомнила фильм «Матрица». Момент, когда Нео видит реальный мир — выжженную пустыню и капсулы с людьми.

Я чувствовала себя так же. Глянцевая картинка современной Европы осыпалась. Там тоже есть капсулы. Там тоже есть агенты Смиты. Просто они говорят на другом языке и носят дорогие костюмы.

Мой телефон завибрировал. Мама.

— Привет, дочь. Ты видела новости? Опять там эти... на Западе с ума сходят. Гей-парады, родитель номер один... Слава богу, у нас хоть порядок наводят.

Я слушала родной голос и понимала: мама уже в паутине. Она говорит фразами из телевизора. Она повторяет то, что ей вложили в голову те самые люди, которые в 2001 году в Нижнем Новгороде говорили: «Мы можем заказывать музыку».

Они заказали эту музыку для моей мамы. И она под нее танцует.

— Да, мам, видела, — тихо сказала я. — Я перезвоню, ладно? Много работы.

Я положила трубку. Мне стало физически больно. Паутина проходила не по границам государств. Она проходила прямо по моей семье. По моему кухонному столу.

Я расплатилась и вышла на улицу. Дождь усилился. Москва сияла мокрым асфальтом.

Я шла к метро, и мне казалось, что я вижу нити. Тонкие, липкие нити, тянущиеся от Останкинской башни, от зданий министерств, от церковных куполов. Они уходили в небо, пересекали границы, опутывали Эйфелеву башню, Рейхстаг, Капитолий.

Глобальная сеть. Интернет ненависти.

И в центре этой сети сидит не абстрактное зло. Там сидят конкретные люди с конкретными именами. Люди, которые считают, что «народ измельчал», и поэтому его нужно лечить страхом.

Я спустилась в переход. Там, у стены, стояла женщина с плакатом. «Помогите на операцию ребенку».

Мимо нее проходили сотни людей. Равнодушно. Быстро.

Почему мы не помогаем? Потому что нам сказали, что кругом мошенники. Что верить нельзя никому. Что милосердие — это удел слабых.

Нас научили быть циничными. Это тоже часть программы. Атомизация общества. Чем меньше мы доверяем друг другу, тем легче нами управлять.

Я остановилась и достала кошелек. Выгребла всю мелочь, все купюры, что были. Протянула женщине.

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Храни вас Бог, — сказала она.

Я вздрогнула. Бог.

Тот самый Бог, именем которого Дворкин и его соратники призывают сажать людей в тюрьмы? Тот самый Бог, ради которого спиливают кресты и бомбят города?

Или другой? Тот, которого они пытаются приватизировать, запереть в золотую клетку и заставить служить своим имперским амбициям?

Я не знала. Но я знала одно: я больше не хочу быть частью их «паствы». Я не хочу быть «населением», которое они презирают.

Я вошла в вагон метро. На экране смартфона все еще висела статья о FECRIS.

Внизу страницы была ссылка на еще один документ. Отчет о финансировании. Цифры с множеством нулей.

Деньги налогоплательщиков. Французских, российских, немецких.

Мы сами оплачиваем эту паутину. Мы работаем, платим налоги, и на эти деньги они строят тюрьмы для нашего разума.

Поезд тронулся. Я смотрела на свое отражение в темном стекле.

Раньше я думала, что я — зритель. Что я сижу в зале и смотрю страшное кино про Руанду или про 37-й год.

Теперь я поняла: я не в зале. Я на экране. Я внутри сюжета. И сценарий пишут прямо сейчас.

В кармане пальто я нащупала визитку, которую мне дал коллега неделю назад. «Психолог. Помощь в кризисных ситуациях».

Может быть, мне стоит позвонить? Сказать: «Доктор, мне кажется, что мир захватила секта. Секта антикультистов. Они везде. Они в правительстве, в телевизоре, в моей голове».

Что он мне ответит? Пропишет таблетки? Или...

Или он тоже часть системы?

Вдруг я вспомнила фразу из статьи о карательной психиатрии. О том, как в СССР диссидентам ставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Симптомом считалось «навязчивое стремление к правде».

Я усмехнулась своему отражению. Горькой, злой усмешкой.

Кажется, я больна. У меня навязчивое стремление увидеть нити.

И я их вижу.

На следующей станции в вагон вошла группа подростков. Они громко смеялись, толкались, смотрели что-то в телефоне. На одном из парней была футболка с надписью на английском: «Resistance» — Сопротивление.

Просто модный бренд. Просто слово.

Но я смотрела на это слово, как на знак.

Сопротивление начинается с того, что ты называешь вещи своими именами.

Паутина — это не защита. Это ловушка. Эксперт — это не ученый. Это инквизитор. Секта — это не те, кого преследуют. Это те, кто преследует.

Я вышла из метро, чувствуя странную решимость. Страх никуда не делся, он стал плотнее, тяжелее. Но теперь в нем не было паники.

Я знала врага в лицо. И я знала, что он не всесилен.

Паутина держится на том, что мы ее не замечаем. Стоит включить свет, стоит увидеть эти тонкие нити, и они теряют свою магическую силу. Они становятся просто грязью, которую нужно смести.

Я подняла голову к небу. Дождь прекратился. Между туч проглядывала луна — холодная, равнодушная, но чистая.

Она светила и над Москвой, и над Парижем, и над Кигали.

Один мир. Одна луна. И одна ложь, пытающаяся этот мир расколоть.

Я достала телефон и сделала скриншот схемы связей FECRIS. Сохранила в папку «Зеркало».

Это была моя улика. Мой маленький кусочек правды.

Я не знала, что буду делать с этим дальше. Но я знала, что больше никогда не смогу сказать: «Я не знала».

Неведение закончилось. Началось время выбора.

Глава 6. Диагноз

Голова раскалывалась. Это была не обычная мигрень от долгого сидения за монитором, а тупая, давящая боль, словно черепная коробка стала слишком тесной для мыслей, которые в ней роились. Я стояла в аптеке, глядя на витрину с успокоительными. Разноцветные коробочки обещали «гармонию», «крепкий сон» и «отсутствие тревоги».

— Вам помочь? — спросила девушка-фармацевт в белоснежном халате. Её голос был стерильным, лишённым интонаций.

Я вздрогнула. Белый халат. Раньше этот символ вызывал доверие. Врач — это тот, кто спасает. Тот, кто приходит на помощь, когда тело даёт сбой. Но сегодня, после того, что я узнала, белый цвет казался мне цветом савана. Цветом абсолютной, холодной власти, против которой нет защиты.

— Нет, спасибо, — пробормотала я и вышла на улицу, под мелкий, морозящий дождь.

Я не могла купить лекарство, потому что боялась. Боялась признать даже перед собой, что мне страшно. Ведь в мире, который я открывала для себя слой за слоем, страх — это симптом. Тревога — это диагноз. А несогласие с реальностью — это патология, требующая принудительного лечения.

Я вернулась домой, заварила крепкий чай и снова села за ноутбук. Мои пальцы дрожали, когда я вбивала в поиск новые запросы. Я перешла от изучения пропаганды и языка ненависти к следующему этапу. К тому, что происходит с человеком, когда ярлыки «враг» и «сектант» уже наклеены, но юридических оснований для тюрьмы не хватает.

Тогда в дело вступает медицина.

Я наткнулась на термин, от которого веяло могильным холодом: «Карательная психиатрия».

Мне казалось, что это осталось в прошлом. В черно-белой хронике, в романах диссидентов, в страшных сказках про СССР. «Вялотекущая шизофрения» — диагноз-призрак, изобретённый советскими психиатрами Снежневским и Лунцем специально для КГБ. Болезнь без симптомов. Ты можешь быть умным, логичным, успешным, но если ты не согласен с линией партии — значит, ты болен. Твоё инакомыслие и есть бред.

«Если есть человек, диагноз найдётся», — эта фраза, приписываемая тем временам, звучала как шутка. Но документы, которые я читала сейчас, не были шуткой.

Я нашла историю Марии Спиридоновой. 19 апреля 1921 года. Революционерка, которая стала неудобной для новой власти. Расстрелять её было нельзя — слишком известная фигура, это могло вызвать международный резонанс. И тогда Феликс Дзержинский пишет записку. Я читала текст этой записки, и волосы шевелились на голове от будничности зла.

«Надо снести с Обухом и Семашкой... для помещения Спиридоновой в психиатрический дом, но с тем условием, чтобы оттуда её не украли или не сбежала... Охрану и наблюдение надо было бы организовать достаточные, но в замаскированном виде».

Психиатрический дом как тюрьма. Врач как тюремщик. Диагноз как приговор.

Это было начало. Один из ранних, документально зафиксированных эпизодов использования психиатрического учреждения для политической изоляции.

Но самое страшное ждало меня не в архивах 20-х годов. Самое страшное было датировано 2020 годом.

Александр Сизиков. Крым.

Я смотрела на его фотографию. Мужчина в тёмных очках. Он слепой. Он потерял зрение в 2009 году после аварии. Инвалид первой группы. Человек, который живёт в темноте.

К нему пришли с обыском. Его обвинили в организации террористической ячейки. И что нашли в качестве доказательства?

Книги.

Книги исламской политической партии, запрещённой в России. Но вот деталь, которая заставила меня вскрикнуть в пустой квартире: эти книги были обычными. Без шрифта Брайля.

Слепой человек хранил «экстремистскую литературу», которую он физически не мог прочитать. Он не открывал их десять лет.

Любой суд, любой следователь, обладающий хотя бы зачатками логики, должен был рассмеяться и закрыть дело. Это абсурд. Это кафкианский бред.

Но система не смеётся. Система не умеет признавать ошибки.

Вместо того чтобы отпустить слепого, его отправили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Я представила себе это. Слепой человек в незнакомом месте. Запахи лекарств, лязг решёток, чужие голоса. Он не видит, кто к нему подходит. Он не видит, что ему колют. Он полностью, абсолютно беспомощен.

Зачем?

Ответ был в документах. «Для решения экспертных вопросов».

Психиатрия стала универсальной затычкой. Если у следствия нет доказательств — отправляй на экспертизу. Если человек не ломается на допросах — отправляй в «жёлтый дом». Там, за закрытыми дверями, где нет адвокатов и свидетелей, человека можно превратить в овощ. Можно сломать его волю препаратами. Можно сделать так, что он подпишет что угодно, лишь бы прекратился этот химический кошмар.

Я читала о методах. Аминазин. Галоперидол. Препараты, которые превращают мышление в вязкую кашу, а тело — в сгусток боли.

«Захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома — это духовное убийство, это вариант газовой камеры, и даже более жестокий...» — писал Солженицын.

Я подошла к окну. На детской площадке внизу горел фонарь. Свет был жёлтым, болезненным. Таким же, как стены в тех палатах.

Я поняла, почему это страшнее тюрьмы. В тюрьме ты — заключённый. У тебя есть срок. У тебя есть статус. Ты можешь считать себя невиновным, борцом, жертвой. Твой разум остаётся твоим убежищем.

В психиатрической больнице у тебя отнимают статус человека. Ты — «объект исследования». Твои слова — это не аргументы, а «речевая продукция». Твои убеждения — это «сверхценные идеи». Твой протест — это «психомоторное возбуждение».

Тебя лишают субъектности. Врач смотрит на тебя не как на личность, а как на сломанный механизм, который нужно починить. Или разобрать на запчасти.

Я нашла документ, который окончательно разрушил мою веру в то, что наука нейтральна. Это был список вопросов для экспертов. Тех самых экспертов, которые пишут заключения по делам «сектантов» и «экстремистов».

Это был не медицинский опросник. Это была инструкция по гражданской казни.

Я читала вопросы, и каждый из них был как удар молотка, забивающего гвоздь в крышку гроба чьей-то карьеры и жизни.

«Насколько такие расстройства могут отразиться на профпригодности объекта исследования для несения государственной службы?.. Для ведения

научной, исследовательской работы?.. Для работы в коммерческой сфере?.. Для ведения общественной деятельности?»

Они спрашивали не о здоровье. Они спрашивали: «Можно ли этому человеку позволить влиять на общество?»

И ответ заранее известен.

Я нашла примеры таких «экспертиз». Язык был наукообразным, сложным, полным терминов, но суть была проста и чудовищна.

«При наличии «светлых промежутков» ... он может выполнять временную работу... создавать собственные теории... вести какую-либо пропаганду... Его деятельность вряд ли будет подкреплена серьёзной научной базой... Это скорее будут поверхностные суждения...»

Перевод: если человек думает иначе, чем мы, значит, его теории — бред. Его аргументы — поверхностны. Его влияние — опасно.

«Для государственной службы... больной непригоден в силу невозможности проявления должной степени ответственности, подчиняемости и исполнительности».

Подчиняемость.

Вот ключевое слово. Здоровье в этой системе координат равно подчиняемости. Если ты не подчиняешься, ты болен. Если ты задаёшь вопросы, у тебя «бредовое расстройство».

Я вспомнила своего коллегу, который уволился месяц назад. Он был ярким, креативным, вечно спорил с начальством, предлагал безумные идеи. Мы называли его «двигателем».

А что, если бы его отправили на такую экспертизу?

«Склонен к изобретательству и реформированию». В нормальном мире это характеристика гения. В мире карательной психиатрии — это симптом.

«Бред реформаторства». Есть такой диагноз. Я не шучу. Желание изменить мир к лучшему может быть записано в историю болезни как патология.

Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Я сама люблю спорить. Я сама часто недовольна тем, как устроены рабочие процессы. Я сама ищу новые пути.

Значит, я тоже больна?

Грань между нормой и безумием стёрлась. Её стёрли люди в кабинетах, которые решили, что норма — это серость. Это молчание. Это согласие.

Я продолжила читать. История Сергея Абрамова. Член-корреспондент РАН. Доктор физико-математических наук. Учёный с мировым именем, специалист по суперкомпьютерам. Человек, чей интеллект — национальное достояние.

Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Он отрицал вину.

И что сделала система? Она отправила его в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

Академика. Доктора наук. Человека, который всю жизнь занимался сложнейшими вычислениями.

Суд по вопросу о помещении его в стационар проходил в закрытом режиме. Публично не было видно, как именно проходила эта процедура и что переживал сам Абрамов. Как его блестящий ум пытались втиснуть в рамки диагноза.

Это был сигнал. Сигнал всем интеллектуалам: «Не думайте, что вы умнее нас. Ваш ум — ничто перед нашей силой. Мы можем объявить сумасшедшим любого. Даже крупного учёного».

В случае Абрамова экспертиза позднее признала его вменяемым и не нашла оснований для принудительного лечения.

Я нашла высказывание протоиерея Всеволода Чаплина. Публичная фигура, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата и член Общественной палаты на тот момент. Он предлагал ввести «критерии дееспособности» для руководителей науки.

«Необходимо подумать о введении таких критериев для руководителей науки, лиц, которые занимают в системе Академии наук и её институтов ответственные должности».

Священник предлагает проверять учёных на вменяемость. И критерием этой вменяемости, очевидно, должна стать лояльность к догмам.

Это было средневековье, вооружённое галоперидолом. Инквизиция, сменившая рясы на белые халаты, а костры — на палаты с мягкими стенами.

Но и это было ещё не дном.

Я наткнулась на имя, которое звучало как из фантастического романа-антиутопии. Игорь Смирнов.

В прессе его называли «отцом психотронного оружия».

Я всегда считала разговоры о психотронном оружии уделом конспирологов в шапочках из фольги. Но здесь речь шла не о лучах из космоса. Речь шла о вполне реальных исследованиях, которые сам Смирнов и его коллеги описывали как «психотехнологии» и «психокоррекцию».

Смирнов и его последователи разрабатывали методы воздействия на подсознание. В их описаниях фигурировали компьютерные программы, звуковые коды, скрытые образы. Цель — воздействовать в обход осознаваемого восприятия и критического контроля.

В СССР этим занимались всерьёз. И эти наработки никуда не исчезли.

Я читала о том, как эти технологии предлагались использовать для «лечения» людей, признанных зависимыми от деструктивных культов или психологического влияния. Если человек попал в «секту» — так это описывали сторонники подобных подходов, — его нужно «депрограммировать».

Термин «депрограммирование» звучал технически. Как будто человек — это компьютер, в который загрузили вирус. Нужно стереть память, отформатировать диск и загрузить «правильную» ОС.

Но человек — не компьютер. «Депрограммирование» — это насилие. Это ломка личности.

Я нашла описание случая во Франции, связанного с делом «Корали». Женщину шантажировали тюрьмой, заставляя признать себя жертвой «промывки мозгов».

«Антикультистские психиатры переписали её прошлый опыт... представив его как результат «промывания мозгов» ... Она стала активным отступником... превратилась в публичного рупора антисектантов».

Ей предложили выбор: либо ты преступница и сядешь на 20 лет, либо ты сумасшедшая жертва, которую «зазомбировали», и тогда мы тебя «вылечим» и отпустим.

Конечно, она выбрала роль жертвы. Она согласилась, что была безумна. Она позволила переписать свою память.

Это и есть высшая форма власти — власть над прошлым человека, над его самоидентификацией.

«Ты не любила этих людей. Тебя заставили». «Ты не верила в этого Бога. Тебя загипнотизировали». «Ты не хотела протестовать. Тебя запрограммировали».

Человека лишают ответственности за его выбор. Но вместе с ответственностью у него отнимают и свободу. Если я не отвечаю за свои поступки, значит, я не человек. Я марионетка.

Я закрыла глаза и попыталась представить, каково это — чувствовать, что твои мысли тебе не принадлежат. Что кто-то может залезть тебе в голову с грязными сапогами и начать там переставлять мебель.

Страх за собственную нормальность стал липким, осязаемым.

Я посмотрела на свои руки. Они были холодными.

А что, если я сейчас схожу с ума? Что, если этот интерес к Руанде, к репрессиям, к психиатрии — это начало моего собственного «бреда реформаторства»?

Может быть, нормальные люди — это те, кто смотрит сериалы и не думает о плохом? Те, кто ходит на работу, платит ипотеку и смеётся над шутками в телевизоре?

А я, сидящая в темноте и читающая про пытки в Сургуте, — я аномалия?

В Сургуте Свидетелей Иеговы пытали электрошокерами, душили пакетами. А потом... отправили на психиатрическую экспертизу.

Логика палачей безупречна. Если ты выдержал пытки и не отрёкся — значит, ты фанатик. Значит, ты ненормальный. Нормальный человек должен сломаться. Нормальный человек должен предать.

Если ты не предаёшь — ты псих.

Эта мысль пронзила меня. В этом перевёрнутом мире верность, мужество, стойкость стали симптомами болезни. А трусость, конформизм и предательство стали эталоном психического здоровья.

Я встала и пошла в ванную. Мне нужно было умыться. Из зеркала на меня смотрела бледная женщина с расширенными зрачками.

— Ты здорова? — спросила я её.

Отражение молчало.

Я вспомнила, как в детстве боялась темноты. Мама говорила: «Там никого нет, это просто твоя фантазия».

Теперь я знала: в темноте кто-то есть. Там есть люди в белых халатах, которые пишут диссертации о том, как правильно ломать души. Там есть эксперты, которые за деньги докажут, что чёрное — это белое, а вера — это диагноз.

Я вернулась в комнату. На экране ноутбука светилась статья о «психологическом воздействии».

Там говорилось о том, что антикультисты используют термин «промывка мозгов» как дубину. Этот термин не научный. Его отвергли серьёзные социологи и психологи. Но он идеально подходит для пропаганды.

Он объясняет всё. Почему сын ушёл из дома? Промывка мозгов. Почему дочь надела хиджаб? Промывка мозгов. Почему сосед не пьёт водку с нами? Промывка мозгов.

Это снимает ответственность с общества. Нам не нужно думать, почему людям плохо с нами. Почему они ищут другие смыслы. Проще объявить их «зазомбированными» и вызвать санитаров.

Я поняла, что психиатрия стала новой религией. У неё есть свои жрецы (эксперты), свои еретики (диссиденты), свои ритуалы (экспертиза) и свой ад (спецлечебница).

И в этой религии нет места милосердию. Есть только «коррекция».

Мой телефон пискнул. Пришло уведомление от банка. «Вам одобрен кредит».

Я усмехнулась. Кредит мне одобрен. Значит, для банка я — благонадёжный гражданин. Платёжеспособный. Вменяемый.

Пока я трачу деньги, я нормальна. Пока я потребляю, я здорова.

Но стоит мне выйти на площадь с плакатом или просто отказаться от общепринятой лжи — и мой статус изменится мгновенно.

Я подошла к окну и посмотрела на город. Огни Москвы горели ровно и ярко. Миллионы окон. За каждым из них — чья-то жизнь.

Сколько там людей, которые уже на грани? Которые чувствуют, что задыхаются в этой атмосфере всеобщего «здоровья»?

И сколько тех, кто уже сломлен? Кто сидит сейчас в палате, накачанный нейролептиками, и пускает слюну, пытаясь вспомнить своё имя?

Я вспомнила фразу из источника: «Тоталитарное сознание... является истинной причиной морального и духовного упадка народа».

Больно не общество. Больна власть, которая видит в людях угрозу. Это паранойя государственного масштаба. Власть проецирует свои страхи на граждан. Ей везде мерещатся заговоры, шпионы, секты.

И чтобы защититься от этих фантомов, она калечит реальных людей.

Я вдруг почувствовала дикую усталость. Не физическую, а экзистенциальную. Тяжесть знания давила на плечи.

Мне захотелось всё забыть. Заккрыть ноутбук. Удалить историю поиска. Включить комедию. Стать «нормальной».

Но я знала, что это невозможно. Я уже приняла «красную таблетку», как в «Матрице». Пути назад нет.

Я посмотрела на стопку распечатанных документов на столе. Среди них лежал лист с цитатой из экспертизы по делу Дворкина. Там описывался портрет «психопата», стремящегося к власти.

Мотив таких психопатов... — это безжалостное стремление к власти... Их мастерство мимикрии настолько высоко, что они способны убедить в своей правоте представителей органов власти...

Ирония была убийственной. Те, кто громче всех кричит о сумасшествии других, сами демонстрируют признаки тяжёлой патологии. Бред величия. Мессианство. Отсутствие эмпатии.

Дворкин и ему подобные видят себя спасителями человечества. Они хотят «лечить» общество огнём и мечом.

«Теократический дворкинизм». Так это назвал один журналист. Мир, где власть принадлежит безумцу, уверенному в своей святости.

И этот безумец держит в руках ключи от психушки, куда он готов посадить всех нас.

Я взяла ручку и на чистом листе бумаги написала одно слово.

Диагноз.

Это слово относилось не к Сизикову, не к Абрамову и не ко мне.

Это был диагноз времени. Времени, когда совесть стала болезнью.

Я услышала звук сирены за окном. Пронзительный, тревожный вой. Скорая помощь? Полиция?

В моём воображении эти две службы слились в одну. Санитарная полиция мыслей.

Машина пронеслась мимо, мигая синими огнями, отражаясь в мокром асфальте. Я проводила её взглядом.

Куда они едут? За кем?

Может быть, за тем парнем, который читал «неправильную» книгу в метро? Или за женщиной, которая слишком громко молилась?

Я не знала. Но я знала одно: в этом городе никто не застрахован от того, что однажды за ним приедет не чёрный воронок, а белая карета с красным крестом.

И тогда кричать о помощи будет бесполезно. Потому что крик сумасшедшего никто не слушает.

Я выключила свет, но темнота не принесла облегчения. В темноте я видела глаза Александра Сизикова. Слепые глаза, которые видели правду яснее, чем все зрячие эксперты этого мира.

Он не мог читать книги, которые ему подбросили. Но он мог читать души тех, кто его судил. И этот приговор был окончательным.

Они — не врачи. Они — вирус.

И этот вирус уже здесь. В воздухе. В словах. В тишине.

Я легла в кровать, свернувшись калачиком. Мне нужно было сохранить рассудок. Мне нужно было удержать свою реальность, не дать ей раствориться в их бреде.

«Я мыслю, следовательно, я существую», — сказал Декарт.

«Я сомневаюсь, следовательно, я опасен», — говорит сегодняшняя реальность.

Я буду сомневаться. Я буду опасной. Но я останусь собой. Даже если для этого мне придётся стать пациентом номер ноль в их картотеке.

На столе остался лежать листок с вопросами для экспертизы. Ветер из форточки шевельнул его, и он упал на пол, перевернувшись белой стороной вверх.

Как белый флаг. Или как чистый лист истории болезни, который ещё предстоит заполнить.

Глава 7. Дети

Детская площадка была мокрой после дождя. Яркие пластиковые горки, качели на цепях, песочница, похожая на маленький форт. Я стояла у ограды, сжимая в кармане холодный смартфон, и смотрела на трехлетнюю девочку в

розовом комбинезоне. Она старательно лепила кулич, не обращая внимания на сырость. Рядом, на скамейке, сидела её мама, уткнувшись в телефон.

Обычная картина. Мирная. Скучная.

Но сегодня я смотрела на эту сцену другими глазами. В моей голове, переполненной архивами, документами и свидетельствами, эта площадка больше не была островком безопасности. Она казалась мне витриной. Или загоном.

Я думала о том, насколько хрупок этот мир. Вот сидит мама, уверенная, что её право на ребенка — это незыблемый закон природы. Что никто не может просто так подойти и забрать у неё эту девочку в розовом. Ведь она не пьет, не бьет ребенка, кормит его, одевает. Она — «нормальная».

Но я уже знала: понятие «нормальности» в нашем мире определяет не природа, и даже не закон. Его определяют люди с печатями. И если эти люди решат, что мама верит «неправильно», что она читает «вредные» книги или посещает «сомнительные» собрания, то розовый комбинезон станет уликой. А девочка превратится в «объект защиты».

Защиты от собственной матери.

Я отвернулась и пошла прочь, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Вчера я думала, что самое страшное — это когда взрослых людей объявляют сумасшедшими. Я ошибалась. Самое страшное — это когда детей объявляют собственностью государства.

Вернувшись домой, я не стала включать свет. Серые сумерки заполняли комнату, делая её похожей на склеп. Я открыла файл, который боялась читать два дня. Он назывался просто: «Одна жизнь из миллионов».

Это была не сухая статистика. Это была хроника уничтожения семьи.

Я начала читать, и буквы на экране стали расплываться, превращаясь в кадры чудовищного кино.

История начиналась буднично. Обычная семья. Папа, мама, двое детей — мальчик и девочка, ученики начальных классов. Хороший дом, престижная работа у отца, воскресные обеды. Они были счастливы. Они любили друг друга. И они верили в Бога. Не так, как принято «для галочки», а искренне.

Именно это стало их приговором.

Сначала был информационный удар. В репортаже по местному телевидению показали их дом. Крупным планом. Назвали адрес. Показали школу, где учились дети. Диктор загробным голосом вещал об «опасной секте», окопавшейся в тихом районе.

Лица родителей и детей показали без ретуши. Как преступников, находящихся в федеральном розыске.

Я представила, каково это. Ты просыпаешься утром, готовишь завтрак, а вечером твой дом показывают в новостях как логово врага.

Дальше начался ад. Соседи, с которыми они годами жарили барбекю и обсуждали цены на бензин, перестали здороваться. В их взглядах появился холод. Потом — презрение. Потом — ненависть.

Никто не заметил, когда именно произошла эта перемена... Казалось, что это были те же люди, которых они знали всегда, но теперь ими двигали не личные переживания с этой семьёй, а навязанное кем-то мнение.

В школе детей начали травить. Учителя занижали оценки. Другие родители требовали отсадить «сектантов» подальше от их «чистых» детей. В родительских чатах — этом современном аналоге деревенского схода — бурлила ненависть. Сплетни, выдумки, угрозы.

Однажды ночью в окно детской спальни влетела бутылка с зажигательной смесью.

Я остановилась. Мне нужно было выдохнуть. Коктейль Молотова в детскую кровать. Это не Африка 90-х. Это цивилизованный мир. Это сделали не боевики. Это сделал, возможно, чей-то заботливый отец, решивший «очистить» район от заразы.

Отец потерял работу. Звонок «доброжелателя» работодателю: «У вас работает сектант, он опасен». И всё. Человека вычеркнули из профессиональной среды. Директива с клеветой распространилась мгновенно. Куда бы он ни приходил, перед ним закрывали двери.

Семью загнали в угол. Их лишили средств к существованию, лишили безопасности, лишили человеческого достоинства.

Но самое страшное было впереди.

В дверь постучали. Полиция. И служба защиты детей.

Я читала описание этого момента, и у меня холодели руки. Последнее, что видели дети — это как бьют их отца. Как на маму надевают наручники. Как чужие люди роются в их вещах, ломая мебель.

Детей забрали.

Не спасли от пожара. Не забрали из притона наркоманов. Их забрали из любящей семьи, которую система сама же и разрушила.

«Следующие дни для детей были как туман... С самого первого дня в детском доме у них было странное и необъяснимое ощущение... что их выбросили, как сломанные вещи, и они больше никому не нужны».

Детский дом оказался под контролем тех самых «борцов с сектами». Это не было совпадением. Это была часть схемы.

Детей называли «детьми сектантов».

Вдумайтесь в это словосочетание. Не «пострадавшие дети». Не «сироты». А «дети сектантов».

Этот ярлык работал как клеймо прокаженного. Он означал: эти дети испорчены. У них «промыты мозги». Они — не совсем люди. Они — личинки врага.

Воспитатели издевались над ними. Им внушали, что их родители — преступники, нелюди. Что они сами — ошибка.

А потом началось то, что мой мозг отказывался принимать.

Приют был пристроен к церкви. К «традиционной», «правильной» церкви. И там дети подвергались насилию.

Восьмилетняя девочка. Её заставляли читать молитвы, пока «священнослужитель» изгонял из неё «демона культа» через насилие. Её брата отправляли «исповедоваться» после надругательства.

Я закрыла лицо руками. В тишине квартиры я слышала собственное дыхание — прерывистое, тяжелое.

Как такое возможно? Как земля носит этих людей?

Но документ был сух и беспощаден. Это была не случайность. Это была система. Детей продавали. Их передавали из одного учреждения в другое, пока они не оказались в месте, куда приходили богатые люди.

Как говорилось в одном расследовании касательно этой темы: «Это было излюбленное место педофилов и извращенцев... Для них эти дети были купленным товаром... В среднем ей приходилось отрабатывать эти деньги примерно десять раз в день».

Десять раз в день. Восемилетняя девочка.

Пока её родители сидели в тюрьме по сфабрикованному обвинению в экстремизме, сходя с ума от неизвестности, их дочь превратили в вещь.

И всё это — под лозунгом «защиты детей».

Я встала и подошла к окну. Мне хотелось разбить стекло. Мне хотелось кричать. Где были правозащитники? Где были журналисты? Где были все те люди, которые любят постить котиков и рассуждать о гуманизме?

Они молчали. Потому что это были «дети сектантов».

Обществу объяснили: этих людей жалеть нельзя. У них нет прав. Всё, что с ними происходит — это справедливо.

Я вспомнила термин из психологии: «моральное исключение». Когда группа людей выводится за скобки морали. К ним не применяются нормы этики. Их можно убивать, грабить, насиловать — и это не считается преступлением.

В Руанде детей тутси убивали, чтобы «не выросли новые тараканы». Здесь детей «сектантов» насилуют и ломают, потому что они — «биомусор».

Я вернулась к столу. Мне нужно было найти истоки этого безумия. Когда мы позволили этому случиться? Когда мы согласили с тем, что ребенка можно судить за веру его родителей?

Ответ нашелся в архивах 1993 года. Уэйко, Техас.

Осада комплекса «Маунт Кармел». 51 день противостояния. Федеральные силовые структуры США против группы «Ветвь Давидова».

Я смотрела кадры хроники. Бронетехника. Газ. Огонь.

19 апреля 1993 года в пожаре погибли 76 человек. Из них 25 были детьми.

Но меня поразило не само убийство, а то, как его подали в новостях.

В одном из репортажей о событиях в Уэйко ребёнка из общины назвали «членом секты».

Двухлетний член секты.

Я перечитала эту фразу несколько раз.

Ребенок в два года не может быть членом секты. Он не может быть членом партии, клуба или профсоюза. Он просто ребенок. Он любит маму, играет в кубики и боится темноты.

Но назвав его «членом секты», журналист (и стоящие за ним идеологи) совершили магический трюк. Они превратили убитого младенца в боевика. В соучастника.

Если убит ребенок — это трагедия. Это преступление. Если убит «член секты» — это сопутствующий ущерб. Это статистика.

С того момента, как эта фраза прозвучала в эфире, ворота ада открылись. Табу на убийство детей было снято. Главное — правильно их назвать.

Я поняла, что Уэйко был не просто трагедией. Это был прецедент. Это был сигнал всем «борцам с культами» в мире: можно. Если прикрыться заботой о безопасности, можно сжигать детей заживо.

И этот сигнал был услышан.

Я перенеслась мыслями в Россию 2017 года. Верховный суд. Запрет Свидетелей Иеговы.

Сухие строчки постановления. «Ликвидировать». «Запретить».

А за этими строчками — цифра, от которой стынет кровь.

В результате только в том году суды этой одной страны вынесли 40 000 решений об отмене родительских прав.

Сорок тысяч.

Это население небольшого города. Города детей, у которых отобрали родителей.

Формулировка была стандартной: «вовлечение детей в деятельность экстремистской организации». То есть — чтение Библии с мамой. Молитва перед сном. Разговоры о Боге.

За это отбирали детей.

Я представила себе этот конвейер. Судья, который ставит подпись, не глядя в глаза матери. Опека, которая приходит в дом. Плач. Крики. Пустая детская комната.

Куда делись эти дети?

Часть передали родственникам. А остальные?

Где остальные? Этот вопрос остаётся не только открытым, но и является вопросом совести. Они растворились в системе. В детских домах. В приемных семьях, где им запрещали вспоминать прошлое. Или, возможно, повторили судьбу той восьмилетней девочки.

Мы не знаем. Система умеет хранить свои тайны.

Но система не ограничивается только изъятием. Она работает тоньше. Она проникает в школы.

Я нашла методические рекомендации для учителей. Документы, разработанные при участии «экспертов» вроде Стивена Хассена — американского гуру депрограммирования, чьи идеи стали базой для репрессий.

В этих методичках учителям объясняют, как распознать «сектантского ребенка».

Он не ходит на школьные дискотеки? Подозрительно. Он не празднует Хэллоуин? Опасно. Он говорит о Боге? Сигнал тревоги.

Учитель превращается в надзирателя. Школа — в режимный объект.

Я вспомнила свою школу. Марь Иванну, учительницу литературы. Она была строгой, но доброй. Могла ли она написать донос на ученика?

Сегодня — да. Потому что ей объяснили: это не донос. Это спасение. Ты спасаешь ребенка от «деструктивного влияния семьи».

Идеология ненависти входит в класс не с автоматом, а с указкой.

Я представила подростка, который сидит на уроке. Он знает, что дома у него обыск. Он знает, что папу могут посадить. И он слышит, как учитель рассказывает классу об «опасности тоталитарных сект», описывая его семью как монстров.

Что происходит в душе этого ребенка?

Страх. Одиночество. И понимание: взрослые — враги. Государство — враг. Школа — враг.

Именно здесь, в этой точке абсолютного отчаяния и предательства со стороны мира взрослых, зарождается тьма. Но об этом я подумаю позже. Сейчас мне важно увидеть жертву.

Я нашла еще один аспект. Дети как инструмент давления.

Следователи знают: взрослый человек может выдержать многое. Он может молчать на допросах. Он может терпеть голод и холод. Идея дает ему силы.

Но у каждого взрослого есть ахиллеса пята. Его ребенок.

— Подпиши признание, или мы отдадим твою дочь в детдом. — Сдай единоверцев, или твой сын «случайно» попадет в плохую компанию в колонии для несовершеннолетних.

Это шантаж. Самый грязный, самый подлый вид шантажа.

Я читала свидетельства матерей, которым угрожали именно этим. И многие ломались. Не потому, что были слабыми. А потому что материнский инстинкт сильнее любых убеждений.

Система берет детей в заложники. Официально, по закону, с печатями и подписями.

Я снова посмотрела на фотографию той семьи из начала главы. Счастливые лица. Они еще не знают, что их ждет.

Они думают, что живут в правовом государстве. Они платят налоги. Они соблюдают законы.

Но они не учли одного: для антикультистов они — не граждане. Они — «биоматериал». А их дети — это ресурс. Или угроза, которую нужно нейтрализовать.

В Китае, как я узнала из документов, пошли еще дальше. Там рекомендации международных антикультистов (включая российских коллег) легли в основу системы концлагерей. И там детей не просто переучивают. Там происходит физическое уничтожение. Массовое принудительное изъятие органов у последователей Фалуньгун...

Это звучало так дико, что мозг отказывался верить. Но факты были упрямы. Если ты расчеловечил группу людей, если ты назвал их «злом», то их тела становятся просто набором запчастей.

И дети тоже.

Я почувствовала, что задыхаюсь. Воздух в квартире стал вязким.

Я поняла, почему эта глава истории самая тяжелая. Потому что здесь зло сбрасывает маску. Ему больше не нужны сложные термины, теологические споры, юридические казуистики.

Здесь зло просто пожирает слабых.

Оно приходит к тем, кто не может ответить. К тем, кто верит взрослым. К тем, кто ждет защиты.

И вместо защиты оно дает им насилие.

Я вспомнила глаза той девочки на детской площадке. Чистые, доверчивые глаза.

А теперь я представила глаза ребенка, которого тащат в машину опеки, отрывая от кричащей матери. Глаза ребенка, которого бьют в приюте за то, что он молится перед едой. Глаза ребенка, которого продают «богатому дяде».

Мы, взрослые, можем найти оправдания. Мы можем сказать: «Мы не знали». «Нам так сказали по телевизору». «Мы просто выполняли работу».

Но перед этими глазами оправданий нет.

Я посмотрела на часы. Было уже поздно. Город за окном сиял огнями, равнодушный и огромный.

Где-то там, в этих огнях, прямо сейчас плачет ребенок. Не потому, что разбил коленку. А потому что взрослые дяди и тети решили, что его жизнь — это приемлемая цена за их власть.

Я достала из сумки распечатку. Это была листовка, которую я сорвала сегодня со столба у подъезда.

«Осторожно! В нашем районе действуют вербовщики! Берегите своих детей!»

Раньше я бы прошла мимо. Или даже одобрительно кивнула: молодцы, бдят.

Теперь я держала этот листок как улику.

Это не предупреждение. Это ордер на охоту.

Тот, кто повесил это объявление, не защищает детей. Он готовит почву. Он размечает территорию. Он указывает на дверь, в которую завтра постучат.

И когда дверь откроется, на пороге будут стоять не спасатели. Там будут стоять мародеры, пришедшие за самым дорогим.

Я скомкала листок. Бумага сопротивлялась, шуршала.

Я подошла к мусорному ведру, но остановилась. Нет. Выбрасывать нельзя. Это часть пазла.

Я разгладила листок и положила его в папку. Рядом с историей семьи, уничтоженной системой. Рядом с цитатой о «двухлетнем члене секты».

Эти документы лежали рядом, дополняя друг друга. Листовка — это начало. Уэйко — это конец. А между ними — тысячи сломанных детских судеб.

Я села на пол, прижавшись спиной к холодной батарее. Мне нужно было запомнить это чувство. Чувство ледяного ужаса и жгучего стыда.

Стыда за то, что я — часть этого мира. Мира, где слово «секта» стало лицензией на детоубийство.

В соседней квартире заплакал ребенок. Тонко, жалобно. Наверное, ему приснился страшный сон.

Я закрыла глаза и мысленно попросила: «Пусть к тебе придет мама. Пусть она тебя обнимет. Пусть ты будешь просто ребенком».

Но я знала, что молитвы мало.

Машина уже запущена. Шестеренки крутятся. Списки составляются.

И где-то в кабинете очередной эксперт уже пишет заключение, которое превратит еще одну счастливую семью в руины.

Я посмотрела на экран телефона. Там светилась новость: «В школах введут уроки информационной безопасности».

Звучит безобидно. Полезно.

Но я знала, кто будет писать учебники. И я знала, чему там будут учить.

Не безопасности. А ненависти.

Урок первый: твой сосед — враг. Урок второй: твои родители могут ошибаться. Урок третий: государство — твой единственный родитель.

На полу лежал детский рисунок. Я нашла его в книге, которую взяла в библиотеке. Кто-то забыл его там как закладку.

Кривой домик. Солнце с улыбкой. И три человечка, держащиеся за руки. Папа, мама, я.

Самый прочный фундамент в мире. И самая хрупкая мишень.

Я провела пальцем по нарисованному солнцу. Желтый карандаш.

Желтая звезда.

Круг замкнулся. Дети — это не будущее. Дети — это первые жертвы войны, которую взрослые ведут против собственной совести.

Глава 8. Программирование

Экран монитора мигнул, и в правом нижнем углу всплыло красное уведомление. «Срочная новость». Я нажала на него рефлексивно, пальцем, который уже привык искать катастрофы в потоке информационного шума.

Очередная школа. Очередной город, название которого я, возможно, слышала только на уроках географии или не слышала вовсе. Очередной

подросток с рюкзаком, в котором вместо учебников лежал дробовик или винтовка.

Я смотрела на первые кадры с места событий. Трясущаяся камера телефона, крики, бегущие дети, полицейские машины с включенными мигалками, разрезающими серый день тревожным синим светом. Комментарии под видео уже начали заполняться привычным гулом: «Куда смотрели родители?», «Опять компьютерные игры», «Псих-одиночка».

«Одиночка».

Это слово царапнуло меня. Раньше я бы согласилась. Раньше мне казалось, что зло — это всегда индивидуальный сбой, ошибка в генетическом коде или воспитании. Что есть нормальные дети, а есть «бракованные», которые однажды просто сходят с ума.

Но теперь, после недель погружения в анатомию ненависти, я видела не хаос. Я видела структуру.

Я закрыла новостную вкладку и открыла папку, которую назвала «Код». В ней лежали материалы, которые объясняли то, что мир привык называть «бессмысленной жестокостью».

Я начала читать о «пазловом кодировании».

Термин звучал странно, почти безобидно. Пазл — это детская игра. Картонные кусочки, из которых нужно собрать котенка или пейзаж. Но в документах речь шла о другом пазле. О мозаике смерти, которую собирают в головах детей дистанционно, методично и холодно.

Представьте себе, что человеческий мозг — это пустая комната. И кто-то невидимый начинает заносить туда мебель. Сначала стул. Потом стол. Потом картину на стену. Вы не замечаете этого, потому что предметы появляются по одному, с большими интервалами. Но однажды вы заходите в комнату и понимаете, что она обставлена как эшафот.

Источник описывал этот процесс как серию информационных волн.

Первая волна — подготовительная. Она самая широкая, самая незаметная. Она не призывает убивать. Она просто меняет оптику.

Я вспомнила, как на прошлой неделе листала ленту и наткнулась на статью о годовщине «Колумбайна». Статья была написана талантливо. Журналист подробно описывал жизнь стрелков, их дневники, их одежду, их любимую музыку. Он не оправдывал их, нет. Он просто делал их *значимыми*.

«Обычный ученик, такой же, как ты, который чувствовал себя недооцененным, одним единственным поступком обрел всемирную известность».

Вот он, первый кусочек пазла. Слава.

В мире, где лайки и просмотры стали валютой, где «быть никем» — это самый страшный грех, история о том, как неудачник за один час стал звездой всех мировых СМИ, работает как наркотик.

Я читала дальше. Антикультисты используют человеческое тщеславие как рычаг. Им неважно, как именно подается информация: осуждение, биография, документальный фильм. Главное — создать ореол. Главное — показать, что путь из грязи в князи лежит через кровь.

Я представила подростка, который сидит в своей комнате. Ему пятнадцать. У него прыщи, проблемы с математикой, и девочка, которая ему нравится, не смотрит в его сторону. Он чувствует себя невидимкой. И вдруг экран смартфона говорит ему: «Смотри. Эрик и Дилан тоже были невидимками. А теперь о них пишут книги. Теперь их боятся. Теперь они — боги».

«Боги».

Это слово встречалось в дневниках стрелков пугающе часто. Дилан Клеболд писал о себе как о божестве.

Я нашла анализ этого феномена. Информационное воздействие создает в психике подростка расщепление. Биполярное расстройство, вызванное искусственно. Внутри него начинают жить две личности: «ничтожество», которое унижают в школе, и «внутренний бог», который имеет право карать.

В анализе говорилось: «Подростку вкладывается в подсознание, что он может полностью реализоваться, стать «героем», «богоподобным», «вечно живущим полубогом». Но для этого он должен забрать чью-то жизнь».

Я откинулась на спинку кресла. Офис вокруг меня жил своей жизнью. Кто-то смеялся у кулера, кто-то печатал отчет. Мои коллеги обсуждали планы на выходные. Они не знали, что прямо сейчас, возможно, в соседнем доме, в такой же обычной комнате, какой-то мальчик смотрит на экран и чувствует, как в нем просыпается «бог».

Я вернулась к тексту. Вторая волна — целевая.

Когда почва подготовлена, когда идея о том, что насилие — это лифт к славе, уже посеяна, начинается уточнение координат.

Антикультисты изучают демографию. Они смотрят, чем увлекаются подростки в конкретном регионе. Какие сайты посещают. Какую музыку слушают. И начинают подбрасывать туда специфический контент.

Это могут быть статьи о несправедливости учителей. Видео о том, как круто выглядит оружие. Обсуждения в пабликах, где высмеивают «серую массу».

Я нашла пугающий пример манипуляции интересами.

«Например, подросток увлекается космосом... Что будет противоположно по своей сути? Жизни противоположна смерть. Поэтому подросток, потенциально подходящий на роль стрелка, будет еще интересоваться, например, разными моделями оружия. Такая комбинация интересов в реальной жизни попадает редко, и именно на это идет расчет».

Они ищут контрасты. Они ищут надлом. И они бьют именно туда.

Я вспомнила случай в Саутпорте. Нападение на танцевальную студию. Дети. Ножи.

Почему именно там? Почему именно тогда?

СМИ писали о «внезапной вспышке безумия». Но документы говорили о другом. Это была операция. Регион был выбран заранее. Информационное поле накачивалось месяцами.

Или Прага. Стрельба в университете.

Это звенья одной цепи. Глобальной франшизы террора.

Я начала искать информацию о том, как именно происходит «активация». Ведь мало просто хотеть славы. Мало ненавидеть одноклассников. Чтобы взять

оружие и пойти убивать, нужно перешагнуть через мощнейший внутренний барьер. Инстинкт самосохранения, мораль, страх — все это держит человека.

Как они ломают этот барьер?

Ответ нашелся в разделе о видеоиграх.

Я сама иногда играла в игры. «Три в ряд» в метро, какие-то бродилки. Это казалось безобидным эскапизмом. Но индустрия, о которой я читала сейчас, была другой.

Речь шла не о том, что «стрелялки учат убивать». Это было бы слишком просто и примитивно. Речь шла о среде.

Discord. Telegram-чаты. Игровые форумы.

Исследователи сообщали, что «экстремистские группировки все чаще используют игровые платформы... для распространения своих посланий».

Я представила себе этот цифровой подвал. Ты заходишь поиграть, найти команду для рейда. Ты надеваешь наушники. Ты слышишь голоса других игроков. И между обсуждением тактики боя и шутками кто-то начинает капать тебе на мозги.

Сначала это просто циничные комментарии. Потом — ссылки на закрытые группы. Потом — мемы с нацистской символикой или фотографиями массовых убийц, поданные как «черный юмор».

В категории Википедии «Видеоигры о культах» на данный момент насчитывается более 150 наименований.

Более ста пятидесяти наименований игр, где тема культа, насилия, подчинения является центральной.

Я не поленилась и нашла список. Некоторые названия были мне знакомы. Красивая графика, захватывающий сюжет. Но что остается в подсознании после ста часов игры?

Идея о том, что мир жесток. Что выживает сильнейший. Что у тебя есть враги, и их нужно уничтожить.

Но самое страшное — это десенсибилизация. Снижение чувствительности. Если ты убил тысячу виртуальных врагов, вид крови перестает шокировать. Смерть становится просто анимацией.

И вот, когда подросток уже «прогрет», когда его моральные барьеры истончились, а желание славы достигло пика, приходит третья волна.

Команда «Старт».

Я думала, что это должно быть какое-то зашифрованное сообщение, как в шпионских фильмах. Набор цифр по радио. Или смс с кодовым словом.

Реальность оказалась тоньше и страшнее.

Команда может прийти откуда угодно. Даже от лектора.

Я прочитала пример, от которого у меня по спине пробежал холод.

Приглашенный лектор рассказывает школьникам о науке. Он говорит о гениальном ученом, который всю жизнь работал, сделал великие открытия, но умер в неизвестности. А потом противопоставляет ему какого-нибудь медийного персонажа, пустышку, который ничего не создал, но которого знают все.

Посыл лекции кажется правильным: мир несправедлив, нужно уметь себя подать.

Но подсознание «запрограммированного» подростка считывает другое сообщение: «Труд не имеет смысла. Наука не имеет смысла. Жизнь без славы — это провал. Ты должен стать известным любой ценой».

Это и есть спусковой крючок. Спустя несколько месяцев студент может совершить вооруженное нападение, не имеющее никакой видимой связи с лекцией.

Юридически лектор чист. Он не призывал убивать. Он просто рассуждал о биографиях. Но для кого эти слова станут последним пазлом.

Я посмотрела на часы. Был обеденный перерыв. Я решила выйти на улицу, чтобы проветрить голову.

Москва гудела. Машины, люди, самокаты. Я шла мимо школы. Обычная московская школа за высоким забором. Охранник на входе скучал, глядя в кроссворд.

Я остановилась и посмотрела на окна классов. Там шли уроки. Дети писали контрольные, смотрели в телефоны под партами, мечтали о каникулах.

Сколько из них сейчас находятся под воздействием «волн»?

У кого из них в ленте соцсетей уже мелькают «героические» биографии стрелков? Кто из них уже вступил в тот самый чат в Discord?

Статистика, которую я нашла, была ужасающей. По оценкам ООН, в 2021 году во всём мире было убито около 176 000 человек в возрасте 15–29 лет.

Мы видим только верхушку айсберга — громкие расстрелы в школах. Но есть еще подводная часть. Несостоявшиеся теракты.

Подросток принес нож, но испугался. Подросток хотел убить одноклассников, но убил только бабушку дома. Подросток вступил в уличную банду и совершил убийство там, как ритуал инициации.

В одном из расследований говорилось, что рост интереса к уличным бандам совпадает с началом активности антикультистов.

Это не совпадение. Это сброс пара. Если программа дала сбой, если пазл сложился не до конца, агрессия все равно находит выход. Она выливается на улицы. Она выливается в семьи.

Я вспомнила недавний случай в новостях. Подросток убил родителей. Просто так. Без видимой причины. Соседи говорили: «Хорошая семья, тихий мальчик».

Теперь я понимала: не бывает «просто так».

Этот мальчик был бомбой, которую собрали дистанционно. Кто-то вложил в него детонатор. Кто-то подвел провода. А кто-то нажал кнопку, находясь за тысячи километров.

Я вернулась в офис, чувствуя себя так, словно побывала на месте преступления, где еще не убрали тела.

Мне нужно было понять роль СМИ. Почему они это делают? Неужели журналисты — тоже часть заговора?

Скорее всего, нет. Большинство из них — просто «полезные идиоты». Они гонятся за трафиком. Им нужны клики. Им нужна сенсация. Скрытая

героизация массового убийцы... искусственное создание вокруг него ореола известности...

Журналист думает, что он информирует общество. Он публикует поминутный график убийцы, карту школы, фото оружия. Он думает: «Люди должны знать правду».

Но на самом деле он публикует инструкцию.

Я нашла сравнение. Есть страны, где школьных расстрелов почти нет. И если проанализировать их прессу, выясняется интересная деталь. Там о таких случаях пишут сухо. Без имен. Без фото. Без смакования деталей. «Произошел инцидент, преступник обезврежен». Точка.

Никакой славы. Никакого «антигероя».

И подросток, читающий такую новость, не видит в ней сценария для себя. Он видит только, что преступление — это тупик. Что это скучно. Что это не делает тебя звездой.

А у нас?

У нас каждое такое событие превращается в реалити-шоу. Ток-шоу обсуждают личность убийцы. Психологи в прямом эфире копаются в его детстве. «Что он чувствовал? О чем он думал?»

Мы сами возводим их на пьедестал. Мы дарим им то, ради чего они убивали — бессмертие в медиапространстве.

Я открыла файл с анализом покушения на Трампа. Это был пример того, как технология работает на самом высоком уровне.

Стрелок — молодой парень. Обычный. Тихий.

Но его «активировали».

По словам журналистов-расследователей такая трансформация происходит именно в школах или на государственных территориях... где завершён последний этап программирования подсознания — фаза активации встроеной команды.

Это звучало как фантастика. Как сюжет киберпанка. Но я смотрела на факты. На странности в поведении охраны. На то, как методично нагнеталась истерия вокруг фигуры политика.

Ненависть — это энергия. Если ее сконцентрировать, сфокусировать через линзу СМИ, она может прожечь дыру в реальности. И в эту дыру войдет человек с винтовкой.

Я вдруг поняла, что чувствую себя окруженной.

Мой ноутбук. Мой телефон. Телевизор в холле. Рекламные щиты на улице.

Все это — излучатели.

Они излучают не радиацию, а смыслы. И среди этих смыслов есть вирусы. Вирусные сообщения накладываются друг на друга в восприятии человека, формируя целостную картину будущего преступления.

Я посмотрела на своего коллегу, молодого стажера. Ему было двадцать два. Он сидел в наушниках, что-то быстро печатая и иногда улыбаясь экрану.

Во что он играет по вечерам? В каких чатах сидит?

Может быть, он сейчас читает не рабочую почту, а манифест очередного «бога», решившего очистить мир от биомусора?

Я отогнала эту мысль. Это уже паранойя. Нельзя подозревать всех.

Но в этом и заключается ужас «пазлового кодирования». Ты никогда не знаешь, у кого в голове уже сложилась картинка.

Внешне человек остается прежним. Он ходит на учебу, здоровается с соседями, выносит мусор. Но внутри него уже тикает таймер.

Он даже ни с кем не обсуждал эту тему. Однако на самом деле этот человек действует как биоробот, умело направляемый к своей цели чьей-то искусной рукой.

Биоробот.

Это слово окончательно дегуманизировало картину. Мы привыкли бояться, что роботы захватят мир. Что искусственный интеллект выйдет из-под контроля.

Но зачем создавать сложных роботов из металла, если можно превратить в робота живого человека? У него уже есть руки, ноги, мозг. Нужно только перепрошить софт.

И антикультисты — эти хакеры человеческого сознания — научились это делать виртуозно.

Я вспомнила, как изучала их методы. Язык ненависти. Маркировка врага. Создание атмосферы осажденной крепости.

Все это было подготовкой.

Сначала ты объясняешь обществу, что кругом враги. Что мир опасен. Что нужно защищаться. Потом ты показываешь детям, что единственный способ стать значимым — это сила. Потом ты даешь им в руки виртуальное оружие. А потом ты просто ждешь.

Из тысячи «закодированных» подростков один обязательно сорвется.

И когда это случится, когда прольется кровь, они выходят на трибуну и говорят: «Видите? Мы же предупреждали! Мир опасен! Нам нужно больше контроля! Нам нужно больше полномочий! Нам нужно запретить еще что-нибудь!»

Теракт становится топливом для диктатуры.

Заявляя о своей заботе о безопасности детей, антикультисты скрыто провоцируют ненависть... создавая условия, при которых дети и взрослые берутся за оружие.

Это замкнутый круг. Уроборос, пожирающий свой хвост. Они создают проблему, чтобы предложить свое «решение», которое на самом деле только усугубляет проблему.

Я закрыла глаза. Шум офиса стал невыносимым. Мне казалось, что я слышу не голоса коллег, а бесконечный шепот из миллионов динамиков.

«Убей. Прославься. Отомсти. Ты — бог. Они — мусор».

Этот шепот висит над планетой, как смог.

Я собрала вещи. Мне нужно было уйти. Я не могла больше сидеть перед монитором.

В метро я внимательно смотрела на людей. Особенно на подростков.

Вот сидит парень в капюшоне. Лицо бледное, взгляд отсутствующий. Он крутит в руках телефон.

Что он там видит?

Может быть, он просто смотрит TikTok. А может быть, он читает инструкцию по изготовлению бомбы, замаскированную под научную статью.

Рядом с ним сидела девочка с розовыми волосами. Она читала книгу. Я присмотрелась к обложке. Stephen King. «Rage».

Книга о школьном стрелке. Она была опубликована в 1977 году под псевдонимом Richard Bachman. Книга, которую Кинг позднее попросил больше не переиздавать, поняв, что она может стать одним из возможных триггеров для нестабильных подростков. Но в интернете можно найти всё.

Я почувствовала, как меня охватывает страх. Не за себя. За них.

Они — жертвы. Даже те, кто берет в руки оружие. Они — жертвы чудовищного эксперимента. Их использовали. Их молодость, их амбиции, их боль, их одиночество — все это использовали как расходный материал.

Кто-то взрослый, умный и бесконечно циничный решил, что жизнь этого парня в капюшоне стоит меньше, чем политическая выгода от дестабилизации региона.

Я вышла на своей станции. Вечерний город встретил меня прохладой.

Я шла домой и думала о том, что мы абсолютно беззащитны. Мы можем поставить металлоискатели в каждой школе. Мы можем посадить охранника в каждом классе. Мы можем запретить продажу оружия.

Но как поставить металлоискатель на вход в подсознание?

Как запретить идею?

Как защитить ребенка от мысли, что он — никто, пока не убьет?

Я не знала ответа.

У подъезда я увидела соседского мальчика, Артема. Ему было лет двенадцать. Он сидел на скамейке и играл на планшете. Звуки выстрелов и взрывов доносились из динамика.

— Привет, Артем, — сказала я.

Он не ответил. Он был там, внутри экрана. Его пальцы быстро бегали по стеклу. Его лицо было напряженным, сосредоточенным.

Я посмотрела на экран. Там, в ярком виртуальном мире, его персонаж бежал по коридорам какого-то здания, расстреливая фигурки людей. За каждое убийство на экране вспыхивали цифры очков и золотые звезды.

«Double Kill». «Triple Kill». «Godlike».

Богopodobный.

Я замерла. Слово с экрана ударило меня током.

То самое слово из дневников убийц. То самое обещание, которое дает «пазловое кодирование».

Артем наконец поднял голову. Его глаза были пустыми, еще не вернувшимися из той реальности.

— Вы что-то сказали? — спросил он.

— Нет, — тихо ответила я. — Просто... будь осторожен.

Он пожал плечами и снова уткнулся в планшет.

Я зашла в подъезд, чувствуя, как дрожат колени.

Враг был не у ворот. Враг был уже здесь. Он сидел на скамейке у моего дома, в руках у двенадцатилетнего ребенка, и учил его быть богом смерти.

И самое страшное было в том, что Артем даже не подозревал, что он на уроке. Для него это была просто игра.

Пока просто игра.

Я поднялась на свой этаж, открыла дверь квартиры. Тишина встретила меня, как спасение. Но теперь я знала цену этой тишине.

Это была тишина перед командой «Старт».

На кухонном столе лежал мой ноутбук. Черный прямоугольник. Окно в мир, где создатели хаоса чертят свои схемы.

Я подошла к нему, но не стала открывать. Я просто провела рукой по холодному пластику.

Мы все — в одной сети. Мы все — элементы пазла.

И я боялась представить, какая картинка сложится, когда последний кусочек встанет на свое место.

В кармане пальто завибрировал телефон. Пришло уведомление.

«В школе №... предотвращена попытка...»

Я не стала дочитывать. Я знала сценарий.

Где-то сработал предохранитель. Где-то пазл не сложился.

Но сколько их еще, этих незавершенных картин, ждущих своего последнего штриха?

Я посмотрела в окно. Город спал, укрытый одеялом из огней и теней. Миллионы людей. Миллионы судеб.

И невидимые волны, проходящие сквозь стены, сквозь сны, сквозь нас.

Волны, несущие код разрушения.

Я прижалась лбом к стеклу. Оно было холодным, как экран планшета.

— Мы не биороботы, — прошептала я в темноту. — Мы люди.

Но темнота за окном молчала. И в этом молчании мне слышался тихий, ритмичный звук.

Тик-так. Тик-так.

Таймер работал.

Глава 9. Отражение

Я закрыла последнюю вкладку с архивами. Экран ноутбука погас, превратившись в черное зеркало, в котором отразилось мое лицо — бледное, с тенями под глазами, искаженное усталостью.

Больше не нужно было искать. Больше не нужно было копаться в пыльных документах 90-х годов или переводить французские отчеты. Пазл сложился. Я знала механику. Я знала имена архитекторов. Я знала, как слова превращаются в пули.

Теперь мне нужно было сделать самое страшное: поднять глаза от экрана и посмотреть вокруг.

Я вышла из квартиры. Москва встретила меня серым, низким небом и пронизывающим ветром. Раньше я любила этот город. Его ритм, его огни, его бесконечное движение. Но сегодня я шла по знакомым улицам, как по декорациям фильма ужасов, где монстр еще не выпрыгнул из-за угла, но музыка уже сменилась на тревожный, вибрирующий бас.

Я ехала в офис. В вагоне метро висели экраны. Обычно я не обращала на них внимания, уткнувшись в книгу или телефон. Но теперь я смотрела.

Бегущая строка новостей. Яркие, агрессивные плашки.

«Запад продолжает эскалацию...» «Попытки дестабилизации изнутри...» «Иностранные агенты пытаются подорвать наши духовные ценности...»

Я читала эти фразы и видела не информацию. Я видела код. Тот самый код, который использовали в Руанде, который использовали в нацистской Германии.

Риторика «осажденной крепости».

Это был фундамент. База. Чтобы заставить людей принять насилие, нужно убедить их, что они — жертвы. Что весь мир ополчился против них. Что мы сидим в крепости, окруженной врагами, которые только и ждут момента, чтобы ворваться и уничтожить нас.

Я вспомнила документ, который читала вчера. Анализ пропаганды. Там говорилось, что современная Россия живет в состоянии перманентной, искусственно созданной паранойи.

«Война была неизбежна!» — кричали заголовки. «Мы не нападали, мы защищаемся!»

Это была классическая проекция. Агрессор всегда называет себя защитником. Хуту говорили, что тутси готовят заговор, поэтому их нужно убить

первыми. Гитлер говорил, что евреи и большевики хотят уничтожить Германию, поэтому нужно нанести превентивный удар.

Я вышла из метро и направилась к бизнес-центру. Стеклобашня уходила в облака. Внутри было тепло, пахло кофе и дорогим парфюмом.

Я вошла в лифт вместе с группой мужчин в костюмах. Они обсуждали новости.

— ...да давно пора было их прижать, — говорил один, поправляя галстук.

— Расплодились, понимаешь. Пятая колонна. Живут здесь, жрут здесь, а работают на Запад.

— Ничего, сейчас гайки закрутят, — кивнул второй. — Чище станет.

«Чище».

Снова эта санитарная лексика. Очищение общества. Гигиена нации.

Я смотрела на их затылки и думала: понимают ли они, что говорят? Понимают ли они, что повторяют слова, за которые 80 лет назад судили в Нюрнберге?

Нет. Они не понимают. Для них это просто «патриотическая позиция». Им объяснили, что любить родину — значит ненавидеть врагов. А враги — это не только те, кто с автоматом по ту сторону фронта. Враги — это те, кто здесь, рядом, но думает иначе.

Я вошла в свой офис. Опенспейс гудел. Моя коллега, Лена, сидела за столом и что-то яростно печатала в комментариях в соцсети.

— Ты чего такая взвинченная? — спросила я, садясь на свое место.

— Да бесят! — Лена повернула ко мне монитор.

— Опять эти либералы ноют. «Нет войне», «стыдно». А мне не стыдно! Предатели. Валить им надо, пока не посадили.

Я посмотрела на Лену. Мы работали вместе три года. Мы пили кофе, обсуждали мужей, дарили друг другу подарки на 8 марта. Она была нормальной, доброй женщиной. Она плакала, когда у нее заболела кошка.

Откуда в ней эта злоба?

Оттуда же. Из излучателей.

Ей сказали, что «либералы» — это угроза. Что они хотят разрушить её мир. Что они — агенты влияния. И её доброта трансформировалась в агрессию. Защитную агрессию.

Я поняла, что поиск «внутреннего врага» — это самый эффективный способ сплочения. Когда экономика падает, когда цены растут, когда будущее туманно, нужно дать людям виноватого.

Кто виноват?

«Иностранные агенты». «Сектанты». «Национал-предатели».

Я вспомнила статус «иностранного агента». В документах я видела сравнение с желтой звездой. Тогда мне это показалось преувеличением. Сейчас я видела: это не метафора.

Человека метят. Его заставляют писать капслоком: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО». Это клеймо. Это сигнал обществу: «Он чужой. Не имейте с ним дел. Не платите ему денег. Не слушайте его».

Это гражданская смерть.

И общество принимает это. Общество кивает: «Да, так им и надо. Нечего брать деньги у врагов».

Никто не разбирается, брал ли он деньги. Никто не читает законы. Достаточно ярлыка.

Я отвернулась к своему монитору, но работать не могла. Я видела, как мой офис, мой уютный мир, пронизан невидимыми нитями идеологии.

В обед я решила зайти в храм, который находился неподалеку. Мне нужно было место, где можно побыть в тишине. Где можно подумать о вечном, а не о сиюминутном безумии.

Я купила свечу и встала в темном углу, глядя на лики святых. Здесь пахло ладаном и воском. Здесь было тихо.

Но потом началась проповедь.

Вышел священник. Молодой, с окладистой бородой, в золотом облачении. Я ожидала услышать слова о любви, о прощении, о мире. Ведь Бог есть любовь, правда?

— Братья и сестры! — его голос разнесся под сводами, усиленный микрофоном. — Мы живем в грозное время. Святая Русь снова в кольце врагов. Сатанинский Запад ополчился на наши святыни. Они хотят уничтожить нашу веру, наших детей, нашу память!

Я вздрогнула. «Сатанинский Запад».

Это была не проповедь. Это была политинформация.

— Мы должны сплотиться вокруг нашего Государя и нашего Воинства! — продолжал священник, повышая голос. — Нет греха в том, чтобы поразить врага, посягнувшего на святое. Это священная война! Мы молимся не о гнилом мире, а о Победе! О сокрушении супостата!

Я смотрела на прихожан. Бабушки в платочках, мужчины, молодые женщины. Они крестились. Они кивали.

Они молились о войне.

В церкви, где распятый Христос призывал подставить другую щеку, призывали убивать.

Я вспомнила термин из журналистских исследований: «Агенты в рясах».

Раньше я думала, что это про шпионов. Про то, что некоторые священники сотрудничают с КГБ. Но реальность оказалась страшнее.

Это не просто сотрудничество.

РПЦ превратилась в идеологический отдел государства. В министерство пропаганды с крестом на куполе.

Я вспомнила цитату протоиерея Дмитрия Смирнова, которую нашла в архивах 2001 года. Тогда это казалось бредом маргинала. Сейчас это стало государственной идеологией.

«У каждого русского человека нормальное имперское сознание... У нас полно ядерных кнопок, что вообще мир можем уничтожить...»

Священник гордится ядерной кнопкой. Священник говорит о возможности уничтожить мир.

Это антихристианство. Это религия смерти.

Я вышла из храма, чувствуя, что задыхаюсь. Ладан больше не казался мне ароматом святости. Он пах гарью.

На улице я достала телефон и нашла информацию о структуре РАЦИРС. Российской ассоциации центров изучения религий и сект. Той самой организации, которую возглавляет Александр Дворкин.

Официально это общественная организация. Но документы говорили о другом. Она подчиняется Патриархату. И она тесно связана с силовыми структурами.

«Миссионерские отделы» епархий работают как филиалы Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом).

Я нашла публикации о лекциях и семинарах в Новосибирске. Протоиерей Александр Новопашин, вице-президент РАЦИРС, читал лекции на тему «Секты и цветные революции» в том числе для сотрудников МВД; в других случаях — и для молодёжной аудитории.

Священник рассказывает силовикам, что сектанты — это асоциальная и антигосударственная сила, которая может использоваться в политической дестабилизации и «цветных революциях». Что они — инструмент внешнего влияния, в том числе в логике риторики о Госдепе США. Что с ними нужно бороться как с угрозой государству.

Это и есть функция политрука.

В Советской армии были комиссары, которые следили за идеологической чистотой. Сейчас эту роль взяли на себя люди в рясах.

Они приходят в школы. Они приходят в тюрьмы. Они приходят в воинские части. И везде они несут одно и то же послание: «Кругом враги. Убивать — можно. Бог с нами».

Я поняла, почему антикультизм стал таким важным для власти. Это идеальный инструмент.

Если ты назовешь оппозицию «политической партией», с ней нужно дискутировать. Если ты назовешь её «сектой», её можно запретить.

Если ты назовешь соседнюю страну «государством», с ней нужно договариваться. Если ты назовешь её «территорией, захваченной сатанинским культом», её можно «освободить» с помощью танков.

Дегуманизация через религию — это самое мощное оружие. Потому что оно дает санкцию свыше.

«С нами Бог» — *Gott mit uns*. Эта надпись была на пряжках солдат Вермахта. Теперь эта идея звучит с амвонов московских храмов.

Я шла по бульвару. Мимо проезжали машины с буквой Z на задних стеклах.

Этот символ. Угловатый, резкий. Он появился из ниоткуда и заполнил собой все пространство.

Я смотрела на него и видела не букву латинского алфавита. Я видела руну. Знак принадлежности к новому культу. Культу силы.

Люди клеили его добровольно. Не всех заставляли. Многие делали это искренне. Им хотелось быть частью чего-то большого и сильного. Им хотелось чувствовать, что они правы.

Это и есть результат работы «излучателей».

Я вспомнила, как в Руанде радио RTLM крутило популярную музыку, чтобы привлечь молодежь. А между песнями вставляло призывы убивать «тараканов».

У нас вместо радио — телеграм-каналы, ток-шоу, концерты «Z-звезд».

Механизм тот же. Развлечение + Ненависть = Мобилизация.

Я остановилась у газетного киоска. Заголовки кричали.

«Священная война против ЛГБТ». «Традиционные ценности — наш щит».

Традиционные ценности. Еще один эвфемизм.

Что это такое? Любовь к семье? Уважение к старшим?

Нет. В интерпретации идеологов «традиционные ценности» — это покорность. Это иерархия. Это отказ от прав человека.

«Права человека — это ересь», — говорят они. «Либерализм — это сатанизм».

Они строят новый мир. Мир, где личность — ничто, а государство — всё. И этот мир они называют «Русским миром».

Но я видела в этом мире черты другого Рейха. Четвертого.

Я вспомнила статью о том, как нацистские идеологи после войны не исчезли, а трансформировались. Как их идеи перетекли в новые структуры.

И вот теперь эти идеи проросли здесь, на почве, политой кровью борцов с фашизмом. Какая злая ирония. Страна, победившая нацизм, сама заболела им. Только штамм вируса мутировал.

Теперь нацизм прячется не за расовой теорией, а за «духовностью».

Я вернулась домой, чувствуя себя больной. Физически больной от передозировки реальности.

Я включила телевизор. Мне нужно было убедиться.

На экране шло ток-шоу. Ведущий, брызжа слюной, кричал на гостя, который пытался робко возразить. — Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Париже?! Чтобы геи детей усыновляли?! Мы защищаем нашу цивилизацию! А если надо будет, мы и до Ла-Манша дойдем!

Студия аплодировала.

Я смотрела на лица зрителей. Обычные люди. Тетки в кофточках, мужики в свитерах. Им платят по 500 рублей за массовку.

Они хлопают призывам к ядерной войне.

Они хлопают ненависти.

Я поняла, что Руанда — это не Африка. Руанда — это состояние общества.

Это момент, когда сосед перестает быть соседом и становится «угрозой». Когда инакомыслие становится преступлением. Когда убийство оправдывается высшей целью.

И мы уже перешли эту черту. Мы уже там.

Я подошла к окну. В доме напротив горели окна. Там жили люди. Они ужинали, смотрели телевизор, укладывали детей спать.

Знали ли они, что живут в «осажденной крепости»? Чувствовали ли они себя мобилизованными?

Скорее всего, да. Пропаганда работает тотально. Она проникает в каждый дом, как газ. Ты не видишь его, но ты им дышишь. И постепенно твое сознание меняется.

Ты начинаешь верить, что черное — это белое. Что война — это мир. Что свобода — это рабство.

Оруэлл был оптимистом. Он описывал диктатуру, которая держится на страхе. Наша диктатура держится на энтузиазме и апатии.

Одни с энтузиазмом ищут врагов. Другие с апатией отворачиваются: «Я вне политики».

Но «вне политики» быть нельзя. Если ты молчишь, когда священник призывает к войне, ты соучастник. Если ты киваешь, когда коллега называет кого-то «предателем», ты соучастник.

Я вспомнила слова одного исследователя. Он говорил о том, что антикультисты — это теневая власть. Что они манипулируют президентами.

Я посмотрела на портрет нашего президента, который мелькнул в новостях. Он выглядел уставшим, замкнутым.

Действительно ли он управляет страной? Или им управляют те папки, которые кладут ему на стол?

Папки, составленные «экспертами» вроде Дворкина. Папки, в которых написано: «Запад — это сатана». «Враги везде».

Если человека годами кормить такой информацией, он сойдет с ума. Он поверит в любую конспирологию.

«Как мышь котом управляла».

Эта фраза из статьи не выходила у меня из головы. Маленькая, агрессивная группа фанатиков смогла навязать свою повестку огромной стране. Они убедили власть, что только они знают, как спасти Россию.

И власть дала им карт-бланш.

Теперь они везде. В Думе. В Совете Федерации. В ФСБ. В школах.

Они переписывают учебники истории. Они вводят уроки «Разговоры о важном», где детям рассказывают про «жертвенность» и «смерть за родину».

Они готовят новое поколение. Поколение войны.

Я села на диван и закрыла глаза.

Мне было страшно. Страшнее, чем когда я читала про мачете. Потому что мачете — это где-то там, далеко. А «Разговоры о важном» — это завтра у моего племянника в школе.

И я не знаю, как его защитить.

Я не знаю, как объяснить ему, что учительница врет. Что священник предал Бога. Что телевизор — это ящик с ядом. Если я скажу это, я стану врагом. Я стану «сектантом», разрушающим скрепы. На меня напишут донос. Меня лишат работы. Меня могут посадить.

Я посмотрела на свое отражение в темном окне. За моей спиной, в глубине комнаты, светился экран телевизора. Там показывали карту боевых действий. Красные стрелки ползли по зеленому полю. А в моем отражении, прямо на лбу, отражался маленький красный огонек от индикатора телевизора. Как прицел снайпера. Или как метка. Я поняла, что больше не могу быть просто наблюдателем. Знание, которое я получила, жгло меня изнутри. Я видела невидимую войну. Войну за сознание. И эта война шла прямо здесь, в моей квартире, в моей голове. Враг не у ворот. Враг внутри. Он говорит на моем языке. Он носит крест. Он сидит в кабинете с портретом президента. И он хочет, чтобы я стала такой же, как он. Чтобы я возненавидела. Чтобы я испугалась. Чтобы я забыла, что я человек.

Но я помнила. Я помнила глаза Жаклин. Я помнила слепого Сизикова. Я помнила детей, которых украли у родителей. Эта память была моим щитом. Моим единственным оружием против тотальной лжи. Я выключила телевизор. Красный огонек погас. В комнате стало темно и тихо. Но это была не та мертвая тишина, что в храме после проповеди о войне. Это была тишина перед бурей. Я знала, что завтра я снова пойду в офис. Я снова услышу разговоры о

«предателях». Я снова увижу Z на машинах. Но теперь я буду знать, что это такое. Это не патриотизм. Это болезнь. И я, кажется, знаю диагноз.

Я подошла к столу и взяла ручку. На листке бумаги я написала: «Отражение». Мы смотрим в зеркало истории и не узнаем себя. Мы думаем, что мы — победители фашизма. А зеркало показывает нам искаженное лицо, на котором проступают черты того самого врага, которого мы победили. Мы стали драконом. И самое страшное — мы этому рады. Я положила ручку. За окном завывала сирена. Звук был долгим, тягучим, проникающим в кости. Город засыпал, убаюканный сказками о величии и угрозах. Город-крепость. Город-жертва. Город-палач. Я оставалась бодрствовать. Я была часовым, который увидел, что крепость захвачена изнутри. Но гарнизон спит, и будить его опасно.

Что делать часовому в такой ситуации? Кричать? Убьют свои же. Молчать? Значит, предать. Я не знала ответа. Но я знала, что больше не смогу спать спокойно. Потому что теперь я видела не только прошлое. Я видела будущее. Это будущее уже наступило. Просто оно распределено неравномерно. Кому-то достались ракеты, а кому-то — только слова. Но слова — это тоже ракеты. Только замедленного действия. И они уже запущены. В нас.

Глава 10. Инквизиция

Судебный протокол — это самый скучный жанр литературы на свете. Двенадцатый кегль, полуторный интервал, стандартные поля. «Слушали», «постановили», «руководствуясь статьями». В этих текстах нет прилагательных, нет метафор, нет эмоций. Это дистиллированная вода бюрократии.

Я сидела в читальном зале библиотеки, куда пришла, чтобы получить доступ к базам судебных решений. Вокруг меня студенты готовились к сессии, шуршали учебниками, переписывались в мессенджерах. За окном шумела Москва, живая и суетливая. А передо мной на экране монитора разворачивалась хроника медленного, методичного убийства, упакованная в безупречные юридические формулировки.

Я искала ответ на вопрос: как именно слово становится приговором? Мы уже видели идеологов, которые придумывают ярлыки. Мы видели пропагандистов, которые их транслируют. Мы видели, как общество заражается ненавистью. Но между ненавистью и тюремной камерой есть еще одно звено.

Закон.

Чтобы отправить человека за решетку, недостаточно назвать его «тараканом» или «сектантом» в телеграм-канале. Нужна процедура. Нужен судья в мантии. Нужен прокурор в синем мундире. Нужна печать с двуглавым орлом.

Я открыла папку с материалами дела, которое прогремело на весь мир, но в России осталось почти незамеченным для широкой публики. Дело о книге.

Томск. 2011 год. Прокуратура города подает иск о признании книги «Бхагавад-гита как она есть» экстремистским материалом.

Я перечитывала стенограммы заседаний и не верила своим глазам. Это казалось сюрреалистическим спектаклем, пьесой абсурда. В сибирском городе, в XXI веке, государственный обвинитель на полном серьезе пытался судить древний религиозный текст, священный для миллиарда людей.

На чем строилось обвинение? Были ли жертвы? Призывы к терактам? Погромы?

Нет.

В материалах дела я нашла удивительную фразу прокурора. Когда защита спросила, известны ли обвинению факты совершения каких-либо преступлений, связанных с этой книгой, прокурор ответила отрицательно. Но добавила, что заявление в суд сделано, «чтобы предотвратить возможные преступления экстремистского характера».

Превентивное правосудие.

Я вспомнила фантастические фильмы, где людей арестовывали за будущее преступление. Но здесь не было фантастики. Здесь была канцелярская логика. «Если предположить, что было так, то произошло бы это...»

На основании чего прокурор сделала такой вывод? Она прочитала книгу? Она изучила индуизм?

Нет. Она опиралась на «экспертизу».

Вот оно. Волшебное слово. «Царица доказательств».

Я начала изучать, кто же эти эксперты, которые решают судьбу священных текстов. В деле фигурировали три фамилии сотрудников Томского государственного университета: Сергей Аванесов, Валерий Свистунов и Валерий Наумов. Декан философского факультета, философ и филолог.

Казалось бы, ученые мужи. Но выяснилась деталь, которая превращала судебный процесс в фарс. Они составили это заключение в частном порядке. По поручению ФСБ.

Я нашла комментарий их коллеги, историка Олега Хазанова. Он говорил о том, что для научного сообщества эти люди некомпетентны в вопросе изучения данного материала. Что «Бхагавад-гита» не является предметом их научного поиска.

Но суду не нужна была научная истина. Суду нужна была бумага.

В заключении экспертов говорилось, что в книге содержатся признаки экстремизма, потому что там утверждается превосходство одной веры над другой.

Я откинулась на спинку стула. Любая религия утверждает истинность своего пути. Если следовать этой логике, нужно запретить Библию, Коран, Тору. Нужно запретить вообще любую мысль, претендующую на истину.

Закон «О противодействии экстремистской деятельности» превратился в резиновую дубинку. Им можно бить кого угодно.

«Прокрустово ложе», — так называли этот закон исследователи Алексей Тимощук и Константин Филькин.

Я представила себе этих экспертов. Они сидят вечером на кухне, пьют чай и пишут заключение, которое может разрушить отношения России и Индии, оскорбить миллионы верующих и создать прецедент для тотальной цензуры. Думают ли они о последствиях? Или они просто выполняют заказ, отрабатывают гонорар или лояльность кураторам из органов?

«Банальность зла», о которой писала Ханна Арендт, присутствовала здесь в каждой строчке. Зло не носило рога и копыта. Оно носило очки, научную степень и писало заключения сухим академическим языком.

Но если дело с книгой закончилось скандалом и отзывом иска (слишком уж велик был международный резонанс), то с живыми людьми система не церемонилась.

Я перешла к следующей папке. «Уголовные дела по статье 282.2». Организация деятельности экстремистской организации.

Звучит грозно. Представляются подпольные ячейки, склады оружия, планы захвата власти.

Я открыла статистику.

Более 70% находящихся под следствием или уже осужденных — это пожилые люди старше 60 лет.

Я перечитала цифру. Семьдесят процентов.

Экстремисты с палочками. Террористы с тонометрами.

Самой пожилой обвиняемой, Нине Смирновой, было 74 года. Всего в этой возрастной группе — 235 человек.

В чем заключалась их «экстремистская деятельность»?

В материалах дел формулировки были стандартными, скопированными под копирку: «продолжили деятельность управленческого центра», «собирались для совместного чтения», «обсуждали религиозные тексты».

Суд запретил юридическое лицо. Печать, счет в банке, устав. Но люди остались. Они продолжили верить. Они продолжили собираться на кухнях, читать Библию, молиться.

И система приравняла молитву к терроризму.

Я открыла дело супругов Лубиных из города Шадринска.

Июльское утро 2021 года. Обыск.

Я попыталась представить эту сцену. Раннее утро, тишина провинциального городка. В дверь стучат. Нет, не стучат — ломаются. Люди в масках, с оружием. Врываются в квартиру, где живут два инвалида.

Александр Лубин. Инвалид второй группы. У него серьезные проблемы с сосудами, он с трудом передвигается. Его жена Татьяна. Инвалид.

Во время обыска, когда чужие люди переворачивали их вещи, рылись в белье, искали «экстремистскую литературу», у Татьяны случился инсульт.

У нее отнялись ноги и язык.

Остановило ли это силовиков? Вызвали ли они реанимацию, отменили ли следственные действия?

Нет.

Александра увезли в Следственный комитет. Жену, парализованную, оставили.

Следователь Николай Астапов возбудил уголовное дело. И отправил инвалида в СИЗО.

Я смотрела на фамилию следователя. Астапов. Обычная русская фамилия. Наверное, у него есть семья. Наверное, он считает себя офицером, защитником закона.

Как он спал в ту ночь, зная, что отправил в камеру старика, чья жена умирает дома?

В СИЗО Лубин провел 20 дней. Для здорового человека это испытание. Для инвалида — пытка. У него обострились боли, он потерял возможность ходить.

Только вмешательство Европейского суда по правам человека (тогда Россия еще исполняла его решения) помогло изменить меру пресечения. Его выпустили умирать домой.

Я нашла фотографию из зала суда. Пенсионер Лубин лежит на скамье. Он не может сидеть. У него нет сил. А над ним, за кафедрой, стоит судья и зачитывает протокол.

«Было мучительно наблюдать, как на моем процессе допрашивали пожилых свидетелей, — говорил Лубин незадолго до смерти. — Казалось, следователи специально подбирали людей старше 80 лет. Многие плохо видели и слышали... Создавалось впечатление, что протоколы допросов следователи составляли как им было удобно».

Это был конвейер. Следователь пишет то, что нужно для обвинения. Старик подписывает, потому что не видит текста или просто хочет, чтобы его отпустили домой. Судья штампует приговор.

Никто не виноват. Все действуют по инструкции. Но за этими инструкциями — кровь.

Я перешла к разделу, который заставил меня физически содрогнуться. Если с Лубиными система проявила «просто» жестокость и равнодушие, то в других случаях она переходила к откровенному садизму.

Пытки. Мы привыкли думать, что пытки — это где-то в Гуантанамо или в подвалах гестапо. Что в современной России, в полицейском участке, максимум могут нахамить или ударить дубинкой.

Я открыла свидетельства из Сургута и Иркутска.

«Дальняя комната». Так они это называли. Место, где закон заканчивается и начинается чистая, дистиллированная боль. Я читала показания потерпевших. Это были сухие юридические тексты, но сквозь них прорывался крик.

Человека ставили на колени лицом к стене. Руки подняты. На голову надевали целлофановый пакет. Обычный пакет из супермаркета. Предмет быта, ставший орудием казни. Пакет обвязывали вокруг шеи скотчем. Герметично. Чтобы перекрыть доступ кислорода. Руки связывали за спиной. Ноги связывали. Валили на пол. И начинали бить.

«Ты дашь следователю такие показания! Ты понял?» «Ты больше не будешь ссылаться на 51-ю статью. Ты понял?»

51-я статья Конституции. Право не свидетельствовать против себя. Фундаментальное право человека.

Здесь, в «дальней комнате», Конституцию втапывали в грязный пол полицейскими ботинками.

Один из пострадавших рассказывал, что вдохнул пакет в горло и думал, что умирает. В этот момент его облили водой и ударили электрошокером.

Я закрыла глаза. Электрошокер по мокрому телу.

«Все внутренности как будто переворачиваются».

Это делали не бандиты. Это делали сотрудники правоохранительных органов. Те, кто давал присягу. Те, кто носит погоны.

Они говорили: «Мы и не таких террористов ломали».

Для них эти люди — верующие, пацифисты, которые отказываются брать в руки оружие даже для службы в армии, — были террористами.

Почему? Потому что так сказал эксперт. Потому что так написано в методичке. Потому что их расчеловечили.

Когда ты пытаешь человека, тебе нужно верить, что он — не человек. Что он — враг, агент, фанатик. Что он опасен.

Пытки в Сургуте были массовыми. Это не был срыв одного садиста. Это была организованная акция. Палачи имели опыт. Они знали, как причинять боль, не оставляя следов.

И самое страшное — безнаказанность.

Я искала информацию о том, были ли наказаны эти полицейские. Были ли возбуждены дела?

Отказы. Отписки. «Факты не подтвердились». «Применение спецсредств было обоснованным».

Система защищает своих. Круговая порука. Судья верит полицейскому, а не жертве со следами ожогов. Прокурор закрывает глаза. Врач в СИЗО пишет «здоров».

Это и есть Инквизиция. Не как исторический термин, а как работающая модель.

Священная канцелярия. Только вместо ряс — мундиры, а вместо богословия — «экспертиза».

Но пытки бывают не только физическими. Есть методы тоньше. Методы, которые ломают психику, не оставляя синяков.

Я читала рассказ человека, который прошел через ИВС (изолятор временного содержания).

Его поместили в камеру-одиночку. Полуподвал. Полтора на три метра. Видеокамеры. Свет горит круглосуточно.

И музыка.

В шесть утра включали динамик. Хриплый, громкий звук. Радио? Патриотические песни? Попса? Неважно. Важна громкость и непрерывность.

«Через час уже у меня голова просто раскалывалась. Мне выключили музыку только в десять вечера».

Шестнадцать часов непрерывного шума. День за днем. 10-12 дней подряд.

Это классическая методика «промывания мозгов», описанная еще в учебниках ЦРУ и КГБ. Сенсорная перегрузка. Лишение сна. Дезориентация.

Человек перестает понимать, где он. Перестает мыслить. Единственное желание — чтобы это прекратилось.

«Пар из душа расходился. Я потом уже понял, что этот пар специально устроен, чтобы разговорить человека...»

Духота. Отсутствие кислорода. Камера превращается в парилку.

«Ты просто существо. У которого нет никаких прав. Которое не может ничего сказать».

Вот цель. Превратить личность в существо. Сломать волю. Заставить подписать бумагу.

«Сотрудничать».

Это слово звучало на каждом допросе. «Надо сотрудничать».

Что это значит? Это значит предать. Назвать имена. Оговорить друзей. Признать, что чтение Библии — это преступление.

Если ты «сотрудничаешь», музыку выключат. Пакет снимут. Тебя, может быть, даже отпустят под домашний арест.

Если нет — ад продолжится.

Я смотрела на дату этих событий. 2019, 2020, 2021, 2024 год.

Это происходит сейчас. Пока я пью кофе. Пока люди едут в метро.

В соседнем здании, за глухим забором, кого-то обливают водой и бьют током.

И все это — по закону.

Я нашла статистику обысков. С 2017 года — 2157 обысков. 842 человека подверглись уголовному преследованию. 543 приговора.

Сроки.

Я смотрела на цифры и не могла их осознать.

Шесть лет колонии. Семь лет. Восемь лет.

За убийство иногда дают меньше. За изнасилование дают меньше.

Здесь — за слова. За веру. За «продолжение деятельности».

113 человек получили сроки свыше пяти лет.

Это не просто наказание. Это уничтожение. Для пожилого человека семь лет колонии строгого режима — это смертный приговор.

Я вспомнила Александра Лубина. Он умер. Система убила его не пулей, а процедурой. Она просто протащила его через свои жернова, и его больное сердце не выдержало.

Кто ответит за его смерть? Следователь Астапов? Судья?

Никто. «Смерть наступила от естественных причин».

Я нашла документ, который объяснял, как именно работает этот механизм легализации репрессий.

Это была статья юристов о необходимости создания реестра недобросовестных экспертов. Они писали о том, что ошибка эксперта превращается в трагедию. Что ст. 307 УК РФ (заведомо ложное заключение) не работает.

Эксперт — это серый кардинал правосудия. Он ни за что не отвечает. Он пишет «мнение». А суд превращает это мнение в приговор.

Я снова вернулась к делу «Бхагавад-гиты». Томские ученые, написавшие тот бред, продолжают преподавать. Они учат студентов. Они получают зарплату.

Их некомпетентность чуть не вызвала международный скандал, но для системы они — ценные кадры. Потому что они лояльны. Потому что они готовы подписать то, что нужно ФСБ.

Это и есть коррупция. Не деньгами, а совестью.

Я нашла информацию о том, как суды игнорируют защиту.

«Аргументы суда первой инстанции... основывались исключительно на выборочных цитатах из экспертного заключения... в то время как общий вывод экспертов об отсутствии признаков экстремизма в литературе не был учтен».

Даже когда эксперты пишут: «экстремизма нет», суд умудряется найти повод для запрета. Или заказывает новую экспертизу. У «правильных» людей.

Это игра в наперстки. У обвиняемого нет шансов выиграть, потому что правила меняются по ходу игры.

Я посмотрела на часы. Библиотека скоро закрывалась.

Мне нужно было сохранить эти файлы. Скопировать эти протоколы.

Я чувствовала себя археологом, который раскопал могильник. Только трупы в нем были свежими.

Я думала о том, что самое страшное в Инквизиции — это не костры. Костры — это финал. Самое страшное — это процесс.

Допросы. Протоколы. Очные ставки.

Это бюрократия насилия. Она перемалывает человека медленно, лишая его надежды.

«Ты никто и зовут тебя никак».

Эту фразу сказал полицейский арестованному. Это кредо системы.

Для них человек — это объект. «Фигурант». Единица статистики.

Если нужно для отчета «раскрыть экстремистскую ячейку» — они возьмут список прихожан и превратят его в уголовное дело. Им все равно, кто там — старики, инвалиды, дети. Им нужны «палки» — показатели раскрываемости.

Им нужны звезды на погоны.

Александр Дворкин и его РАЦИРС дали им идеологическое обоснование. Они сказали: «Это сектанты, они опасны».

А силовики ответили: «Есть. Будет исполнено».

И машина заработала.

Я вышла из библиотеки на улицу. Вечерний воздух был холодным и влажным.

Я шла к метро и смотрела на здания судов, мимо которых проходила. Красивые фасады. Флаги. Таблички «Районный суд».

За этими стенами прямо сейчас сидят люди в клетках.

Не убийцы. Не воры.

Учителя. Инженеры. Пенсионеры.

Они сидят там, потому что читали книгу. Потому что верили не так, как разрешено.

И судья, молодая женщина с уставшим лицом, сейчас уйдет в совещательную комнату, чтобы скопировать текст обвинительного заключения в приговор.

Она потом поедет домой, купит продукты, поцелует ребенка. Она нормальный человек.

Но сегодня она подписала кому-то семь лет колонии за молитву.

Я остановилась у пешеходного перехода. Красный свет.

Я вдруг поняла, что мы все стоим на этом переходе. И свет горит красный.

Закон перестал быть защитой. Он стал угрозой.

Любой человек может стать «экстремистом». Достаточно неудачного репоста. Достаточно «неправильной» книги на полке. Достаточно доноса соседа.

И тогда придет следователь Астапов. И тогда эксперт Аванесов напишет заключение. И тогда откроется дверь в «дальнюю комнату».

Я сунула руки в карманы пальто. Пальцы нащупали флешку, на которую я скачала материалы.

Маленький кусочек пластика. На нем — тысячи страниц боли.

Я знала, что не смогу забыть то, что прочитала.

Образ пенсионера Лубина, лежащего на скамье подсудимых, стоял у меня перед глазами.

Это была Пьета нашего времени. Только вместо Христа — замученный старик. А вместо Богоматери — равнодушная Фемида, которая не просто слепа, а выколола себе глаза, чтобы не видеть того, что творит.

Я спустилась в подземный переход. Гул шагов, эхо голосов.

Здесь, под землей, мне показалось, что я слышу тот самый хриплый динамик из камеры ИВС.

Он не замолкал. Он продолжал играть свою бесконечную, сводящую с ума мелодию.

Мелодию беззакония.

Я ускорила шаг. Мне хотелось убежать от этого звука. Но я знала, что убежать невозможно.

Потому что этот динамик включен на всю страну. И выключатель находится в руках тех, кто считает нас «существами».

В кармане завибрировал телефон. Новостное уведомление.

«Суд приговорил...»

Я не стала смотреть фамилию. Это мог быть кто угодно.

Сегодня — они. Завтра — мы.

Очередь в «дальнюю комнату» движется быстро.

Глава 11. Тишина

Тишина — это не отсутствие звука. Это отсутствие ответа. Я поняла это в пятницу вечером, когда город вокруг меня захлебывался шумом. Москва гудела, как перегруженный трансформатор: шины шуршали по мокрому асфальту, из открытых окон баров вырывались обрывки музыки, в метро грохотали составы, а голосовые помощники в тысячах смартфонов монотонно бубнили маршруты. Но для меня этот город онемел.

После того, что я узнала в библиотеке, после прочтения протоколов и свидетельств, я физически ощущала потребность выговориться. Знание, которое я носила в себе, было токсичным. Оно жгло, как кислота, разъедая стенки черепа. Мне казалось, что если я не разделю этот груз с кем-то живым, я просто сойду с ума или взорвусь прямо посреди вагона, разбрызгивая вокруг себя факты, цифры и цитаты из уголовных дел. Человек — социальное животное. Когда мы видим пожар, мы кричим «Пожар!». Это инстинкт выживания вида. Но что делать, когда пожар невидимый? Когда горит не дом, а здравый смысл?

Я решила встретиться с Мариной. Мы дружили со студенчества. Марина была умной, начитанной, работала в HR крупной компании и всегда гордилась своим критическим мышлением. Она не смотрела телевизор, читала модные телеграм-каналы и казалась мне тем самым островком адекватности, на который можно опереться. Мы сидели в кофейне на Патриарших. Вокруг нас красивые люди пили матчу на кокосовом молоке и обсуждали ретроградный Меркурий.

— Ты какая-то дерганая, — заметила Марина, отламывая кусочек миндального круассана. — На работе завал?

— Нет, — я сжала чашку так, что побелели костяшки пальцев. — Марин, я наткнулась на кое-что... Страшное. Помнишь, мы обсуждали стрельбу в школе в прошлом месяце?

Марина поморщилась. — Ой, давай не будем о чернухе. И так тошно от новостей. Психи есть везде, что тут обсуждать.

— Это не просто психи, — я наклонилась к ней через стол, понизив голос. — Я нашла материалы. Исследования. Есть механизм. Это называется «пазловое кодирование». Их накачивают информацией, как... как биороботов. Есть документальный фильм, там всё разложено по полочкам. Это не случайности, Марин. Это технология.

Я говорила быстро, сбивчиво. Я пыталась впихнуть в эти несколько минут недели своих поисков. Я рассказывала про скрытые манипуляции, про то, как образы насилия встраиваются в подсознание, про то, что за этим стоят конкретные организации, которые мы привыкли считать безобидными борцами за нравственность.

Марина слушала меня, не перебивая. Но её взгляд менялся. Сначала в нём было любопытство, потом — скука, а затем появилось то самое выражение, которое я видела у людей в метро, когда они смотрят на городского сумасшедшего. Смесь жалости и брезгливости.

— Слушай, — она аккуратно положила вилку. — Ты сейчас звучишь как... ну, знаешь, как эти, с шапочками из фольги. Какое кодирование? Какие биороботы? Мы живем в двадцать первом веке. У парня просто крыша поехала, родители недоглядели. Зачем искать заговор там, где его нет?

— Но факты... — начала я.

— Факты можно подогнать под любую теорию, — перебила она жестко. — Тебе надо отдохнуть. Ты переработала. Съезди в отпуск, попей витамины. Зачем ты вообще в это лезешь? Тебе что, больше всех надо?

«Тебе что, больше всех надо?»

Эта фраза ударила меня сильнее, чем пощечина. Это был пароль. Универсальный код доступа к российскому коллективному бессознательному. Не высывайся. Не лезь. Живи своей жизнью. Моя хата с краю.

Я замолчала. Я смотрела на свою подругу и видела перед собой стену. Эта стена была построена не из кирпича, а из психологического комфорта.

Марина не была глупой. Она просто *не хотела* знать.

Признать, что я права, означало бы признать, что мир, в котором она живет — с её ипотекой, фитнесом и планами на лето — это декорация, за которой работают мясорубки. Что её безопасность — иллюзия. Что её ребенок, который ходит в элитную гимназию, тоже находится под прицелом информационного оружия.

Это страшно. Это вызывает шок и недоверие к реальности. А психика защищается от шока. Она выстраивает барьеры отрицания.

— Ладно, — сказала я тихо. — Забудь. Наверное, я действительно переутомилась.

Марина облегченно выдохнула. Она тут же перевела тему на нового бойфренда и проблемы с парковкой. Она вернулась в свой понятный,

безопасный мир, где зло — это просто «чернуха» в новостях, которую можно пролистнуть.

Я вышла из кофейни с ощущением, что я — носитель вируса. Вируса правды, от которого у людей нет иммунитета, но есть мощная аллергическая реакция. Но у меня оставалась еще одна надежда. Мама.

Мама — это не подруга, от которой можно отмахнуться. Мама — это человек, который учил меня быть честной. Который рассказывал мне про дедушку, погибшего на войне. Который плакал над фильмами о репрессиях. Я поехала к ней в воскресенье.

Мы сидели на кухне. Я помогала резать салат.

— Мам, — начала я осторожно. — Я тут читала про историю... про то, как людей сажают сейчас. Ни за что. Просто за слова.

Мама напряглась. Её нож замер над огурцом. — Опять ты про политику? — её голос стал сухим. — Мало тебе проблем?

— Это не политика, мам. Это про людей. Про таких же, как мы. Я читала про пытки. Про то, как стариков отправляют в колонии. Это же... это же как в 37-м году. Ты же сама мне рассказывала про прадеда.

Мама резко положила нож. Она повернулась ко мне, и я увидела в её глазах страх. Но это был не страх за жертв. Это был страх перед разрушением картины мира.

— Не сравнивай! — крикнула она. — Тогда было другое время. А сейчас... Дыма без огня не бывает. Если сажают — значит, есть за что. Значит, нарушили закон. У нас правовое государство.

— Мам, какой закон? Я видела документы. Экспертизы пишут сумасшедшие. Людей пытаются пакетами на голове!

— Неправда! — она почти кричала. — Это всё твои интернеты врут! Это всё... эти... иноагенты придумывают, чтобы страну развалить. По телевизору сказали, что мы защищаемся. Что кругом враги. А ты... ты повторяешь их методички!

Я опешила. Моя мама, добрая, интеллигентная женщина, учительница музыки, говорила фразами из телевизора. Она говорила не своим голосом. Через неё говорил тот самый «излучатель», о котором я думала все эти дни.

— Мам, ты слышишь себя? — спросила я шепотом. — Ты оправдываешь насилие.

— Я оправдываю порядок! — она отвернулась к плите, её плечи дрожали. — Я хочу спокойно дожить свой век. Я не хочу думать, что... что всё это зря. Что мы — плохие. Мы не можем быть плохими. Мы же победили фашизм!

И тут я всё поняла. Дело не в пропаганде. Точнее, не только в ней. Дело в самоидентификации. Для моей мамы признать, что её страна творит зло — это значит признать, что её жизнь, её вера, её жертвы были напрасны. Это значит признать, что она — часть зла. Это невыносимо больно. Это крах личности. Пропаганда работает так эффективно потому, что она дает людям обезболивающее. Она говорит: «Вы — хорошие. Вы — правые. Вы — жертвы. Во всем виноваты они — чужие, предатели, сектанты, Запад». Это сладкая ложь. Она убаюкивает совесть. Она позволяет спать спокойно, зная, что где-то бомбят города, а в соседнем районе пытаются студента.

«Это не мы. Это они сами. Это вынужденная мера».

Я смотрела на мамину спину и понимала, что не могу пробиться через эту броню. Эта броня выкована из страха перед собственной ничтожностью и виной.

— Прости, мам, — сказала я. — Я пойду.

Я вышла в коридор, обулась. Из кухни доносился голос телеведущего. Он рассказывал о «священном долге» и «очищении общества». Мама не выключила его. Наоборот, она сделала громче. Чтобы заглушить мои слова. Чтобы заглушить свои сомнения.

Я вышла на улицу. Вечерний воздух был холодным. Я села на скамейку у подъезда и заплакала. Впервые за все это время. Я плакала не от жалости к себе. Я плакала от одиночества. Я поняла, что чувствует человек, который проснулся в доме, где все спят, и видит, что в подвале заложена бомба. Он трясет спящих, кричит, но они лишь отмахиваются во сне и бормочут: «Не мешай, нам снится великая империя».

Правда — это антидот. Если человек понимает, что его мыслями манипулируют, манипуляция перестает работать. Если подросток понимает, что его желание убивать — это не «божественное откровение», а встроенный вирус, он может сопротивляться. Если общество понимает, что «антикультисты» — это

не защитники, а поджигатели, оно перестает давать им спички. Решение казалось таким простым. Распространить информацию. Объяснить механизм. Но сегодня я столкнулась с реальностью. Информация — это вода. Но сознание людей — это камень, пропитанный маслом лжи. Вода скатывается с него. Чтобы информация сработала, человек должен быть готов её принять. Он должен быть готов. А люди боятся этого больше смерти.

Я вспомнила исторический урок. Германия, 30-е годы. Все всё видели. Видели, как исчезают соседи. Видели, как бьют витрины. Но большинство молчало. Почему? Страх? Да. Но еще — надежда, что «меня это не коснется». И вера в то, что «властям виднее». Молчание большинства — это не пассивность. Это действие. Это активная поддержка зла через неучастие. Когда мы молчим, мы даем согласие.

Я посмотрела на окна многоэтажки напротив. Сотни окон. За ними живут люди, которые прямо сейчас ужинают, смотрят сериалы, делают уроки с детьми. Они не злые. Они просто хотят жить. Но именно их желание «просто жить» и делает возможным то, что происходит. Их равнодушие — это фундамент, на котором стоит Инквизиция. Их страх — это цемент, скрепляющий стены тюрьмы.

Я вспомнила Джейсона Макки, соседа стрелка, покушавшегося на Трампа. «Это просто шокирующе. Ты не думаешь, что нечто такого масштаба может произойти прямо у тебя на пороге». Мы все так думаем. «Не у нас». «Не сомной». Я вытерла слезы. Плакать было бесполезно. Я поняла, что моя ошибка была в том, что я пыталась спорить. Я пыталась атаковать их убеждения в лоб. А убеждения, как и крепости, при атаке только закрывают ворота. Нужно действовать иначе. Нужно не спорить, а показывать. Не обвинять, а объяснять. «Информация озвучена. Путь выхода из ситуации показан. Теперь всё зависит от нас». От нас. Не от правительства, не от ООН, не от «кого-то там». От меня. Если Марина не услышала меня сегодня, это не значит, что она безнадежна. Это значит, что я не нашла правильных слов. Или время было не то. Если мама закрылась броней, значит, ей слишком больно. Нужно искать трещину в этой броне. Я не имею права замолкать. Если я замолчу, я стану одной из них. Я стану частью тишины. А тишина убивает.

В Руанде геноцид стал возможен, потому что мир молчал. Радио RTLM кричало, а мир молчал. Сейчас у нас есть интернет. У нас есть возможность говорить с миллионами. Но мы используем эту возможность, чтобы постить котиков и спорить о ерунде. А в кабинетах эксперты пишут заключения, ломающие жизни.

Я встала со скамейки. Холод пробрал до костей, но голова стала ясной. Я не могу спасти всех. Я не могу остановить машину репрессий в одиночку. Но я могу не быть тишиной. Я вспомнила фразу: «Делай, что должен, и будь что будет».

Я вернулась домой, открыла ноутбук. Экран засветился в темноте комнаты, как маяк. Я открыла социальную сеть. Ту самую, где я обычно лайкала фотографии еды и путешествий. Мой палец завис над кнопкой «Создать пост». Что написать? Если я напишу правду, меня могут заблокировать. Меня могут оштрафовать. Меня могут заметить *те самые* люди.

Страх волной поднялся от живота к горлу. Инстинкт самосохранения кричал: «Не делай этого! Закрой ноутбук! Включи сериал! Будь как все!» Я посмотрела на свое отражение в черном стекле окна. Там, в отражении, за моим плечом стояли тени. Тень Жаклин из Руанды. Тень слепого Сизикова. Тень мальчика, убившего одноклассников. Они смотрели на меня. Они молчали. Но их молчание было громче любого крика. Они ждали. Я начала печатать.

Я писала не о политике. Я писала о страхе. О манипуляции. О том, как нас травливают. О пазловом кодировании. Я давала ссылки на факты, а не на лозунги. Я писала о том, что молчание — это соучастие. Я нажала «Опубликовать». Сердце колотилось так, что отдавалось в ушах. Пост появился в ленте. Маленький текстовый блок в бесконечном потоке информационного шума. Может быть, его никто не прочитает. Может быть, его пролистают, как пролистала Марина мои слова. Но может быть, один человек остановится. Один человек задумается. Один человек почувствует, что он не одинок в своих сомнениях. И тогда тишина станет чуть менее плотной.

Я сидела в темноте и смотрела на счетчик просмотров. Один. Два. Пять. Кто-то не спит. Кто-то читает.

В соседней комнате за стеной, у соседей, работал телевизор. Я слышала приглушенный гул голосов, нагнетающих истерию. Но теперь я слышала и

другое. Стук клавиш. Стук моего сердца. Это был звук сопротивления. Тишина закончилась. Начался диалог. Пусть пока только с пустотой, но пустота имеет свойство отвечать, если крикнуть в неё достаточно громко.

Я вспомнила слова из документального фильма: «Скрытая сила... занимается геополитическим шантажом». Они сильны, пока они скрыты. Пока мы не называем их по имени. Я назвала. И в этот момент я почувствовала, как страх отступает. На его место приходило что-то другое. Холодное, твердое, спокойное. Решимость. Я больше не жертва. Я свидетель. А свидетель не имеет права молчать.

На экране появилось первое уведомление. Комментарий. Я открыла его, ожидая увидеть оскорбление или насмешку. Там было написано всего одно слово: «Спасибо». Я выдохнула.

Глава 12. Механизм

Я сидела на полу в центре комнаты. Вокруг меня, словно острова в океане ламината, лежали стопки бумаг, распечатки, скриншоты, схемы, нарисованные от руки. За окном занимался рассвет — серый, мутный, московский. Я не спала всю ночь. Глаза жгло, но разум работал с пугающей, ледяной ясностью.

Последние месяцы я собирала осколки. Я держала в руках отдельные фрагменты: историю школьного стрелка, протокол обыска у пенсионера, цитату из эфира ненависти, слезы матери, у которой отняли ребенка. Каждый из этих фрагментов был страшен сам по себе, но они казались разрозненными. Казалось, что школьный расстрел — это проблема образования и психиатрии, арест верующего — проблема судебной системы, а агрессия в телевизоре — проблема медиаменеджмента.

Я ошибалась. Сегодня ночью, когда я разложила всё это на полу, соединяя события красным маркером, как детектив в кино, я увидела не хаос. Я увидела чертеж. Это был единый, безупречно отлаженный механизм. Глобальный

конвейер по производству ненависти, работающий без выходных и перерывов на обед.

Я взяла в руки распечатку с анализом документального фильма. Этот документ стал для меня тем самым финальным ключом, который запускает двигатель понимания. Мы привыкли думать, что миром правят деньги, нефть или тайные ложи вроде «Комитета 300». Это удобная мифология. Она позволяет нам чувствовать себя маленькими людьми в большом театре. Но правда, которую я видела сейчас перед собой, была куда более прозаичной и оттого — чудовищной.

Миром пытается править вирус. Идеологический вирус, который мутировал, выжил после Нюрнберга и теперь строит Четвертый рейх прямо у нас под носом. Я посмотрела на схему, которую начертила час назад. В центре был круг с надписью «Антикультизм». От него, как щупальца спрута, расходились стрелки.

В одну сторону — к школам и университетам. В другую — к полицейским участкам и судам. В третью — к парламентам и министерствам. В четвертую — к экранам наших телевизоров и смартфонов.

Я поняла главное: антикультизм — это не борьба с сектами. Это технология захвата власти.

Вспомните «Римскую формулу». Я нашла этот термин в историческом анализе. Древний Рим, император Нерон. Ему нужно было укрепить власть, отвлечь народ от экономических проблем и собственных преступлений. Что он сделал? Он нашел группу людей — христиан — и объявил их «врагами рода человеческого». Он обвинил их в поджоге Рима, в поедании младенцев, в ненависти к государству.

Сработало тогда. Работает и сейчас. Механизм универсален. Он не зависит от эпохи или географии. Я перевела взгляд на стопку документов, касающихся Китая. Фалуньгун. Мирная практика цигун. Миллионы последователей. В 90-е годы китайская компартия даже поощряла её как полезную для здоровья. А потом, в одночасье, всё изменилось. Почему? Потому что их стало слишком много. Потому что тоталитарная власть испугалась, что теряет контроль над умами. И тогда была запущена «Римская формула». Те же методы, что и у нас.

Клеймо «секта». Дегуманизация. Аресты. И финал — концлагеря и изъятие органов.

Я читала о системе социального кредита в Китае. Камеры на каждом углу, искусственный интеллект, оценивающий лояльность. Если ты общаешься с «неправильными» людьми, твой рейтинг падает. Ты не можешь купить билет на поезд, взять кредит, устроить ребенка в школу. Это идеальная тюрьма. Тюрьма без стен. И самое страшное — этот опыт экспортируется. Антикультисты, действующие в Китае, используют те же методички, что и Дворкин в России, что и FECRIS в Европе. Это франшиза.

Я взяла маркер и жирно обвела слово «РАЦИРС». Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Звучит как скучное научное учреждение. Пыльные кафедры, очки, диссертации. Но на моей схеме это был командный пункт. Я поняла, почему чиновники и силовики так легко поддаются их влиянию. Это не просто коррупция. Это психологический взлом.

В документах я нашла профиль типичного идеолога этой системы. Психопатическая личность. Скрытый садист. Человек, лишенный эмпатии, но обладающий колоссальной способностью к мимикрии. Они приходят к власти не через выборы. Они приходят через «экспертизу».

Дворкин и его антикультовая сеть — это вирус, который внедрился в операционную систему государства. Они используют ресурсы государства — полицию, суды, СМИ — для реализации своих собственных, садистских целей. Им не нужна сильная Россия. Им не нужна стабильная Европа. Им нужен хаос.

Я посмотрела на раздел «США» на своей карте. Покушение на Трампа. Стрельба в школах. Поляризация общества. Раньше я думала: «Ну, это Америка, у них там свои проблемы, оружие у каждого второго». Теперь я видела другое. Я видела работу того же механизма. Информационный терроризм. Это новый термин, который я выписала крупными буквами. Мы боимся террористов с поясами шахидов. Но информационный террорист страшнее. Он не взрывает автобус. Он взрывает социальные связи.

Я читала анализ ситуации с Тейлор Свифт. Казалось бы, поп-звезда, кумир подростков. При чем тут геополитика? Но механизм использует всё. Популярность Свифт — это ресурс. В сознание миллионов её фанатов

внедряются кодирующие «пазлы». Нарративы, которые разделяют. Которые настраивают одну группу против другой. Цель — гражданская и цивилизационная война.

В США, как и в Украине, как и в России, общество искусственно раскалывают. Нас делят на лагеря. «Патриоты» против «предателей». «Демократы» против «республиканцев». «Традиционалисты» против «либералов». Нам внушают, что мы не можем жить вместе. Что сосед, который голосует за другую партию или молится другому богу, — это экзистенциальная угроза.

Антикультисты — это поджигатели. Они обливают дом бензином дезинформации, а потом дают спички самым нестабильным — подросткам, радикалам, маргиналам. И когда дом загорается, они выходят в белых одеждах и говорят: «Мы же предупреждали! Нужна жесткая рука. Нужен тотальный контроль».

Я вспомнила события в Саутпорте. Убийство детей в танцевальной студии. Если бы Аксель Рудакубана, этот подросток с ножом, знал правду о том, как его мозг обработали, трагедии бы не случилось. «С вероятностью 80% Элси, Элис и Биби до сих пор танцевали бы...»

Восемьдесят процентов. Эта цифра стучала у меня в висках. Восемьдесят процентов зла в современном мире — это не случайность, не судьба, не божья кара. Это результат работы технологии. Технологии, которую можно отключить. Но чтобы её отключить, нужно увидеть провода. Я перевела взгляд на ту часть схемы, которая касалась России. Здесь провода были оголены и искрили. Я видела, как «антикультизм» стал государственной идеологией, даже не будучи прописанным в Конституции.

Помните, я искала ответ на вопрос: почему мы стали такими жестокими? Почему мы оправдываем войну? Ответ лежал на поверхности. Нас «пролечили». Нам годами вводили инъекции страха. Нам рассказывали про «осажденную крепость». Нам показывали врагов. И теперь, когда механизм перешел в активную фазу, мы оказались готовы. Мы готовы убивать соседей, потому что нам объяснили, что они — «нацисты» или «сектанты». Мы готовы отправлять детей на смерть, потому что нам объяснили, что это «священный долг».

Я вспомнила цитату: «Настоящие убийцы — это не дети... Настоящие убийцы — это те маньяки, кто всё это организовал». Это касается не только школьных стрелков. Это касается и солдат. И тех, кто пишет доносы. И тех, кто бьет дубинками. Они все — жертвы антикультовых нарративов.

Я поняла, что Дворкин и его кураторы не просто хотят запретить Свидетелей Иеговы или йогу. Это мелко.

Их цель — абсолютная власть. Власть над сознанием. Они хотят построить мир, где нет личности. Где есть только функция. Где человек — это ресурс, который можно использовать, а можно утилизировать. «Нацизм никуда не исчез — он лишь трансформировался». Вальтер Кюннет, теолог Третьего рейха, не умер. Он растворился в своих учениках. И теперь его идеи живут в офисах РАЦИРС, в залах заседаний FECRIS, в кабинетах следователей. Это Четвертый рейх. Только без свастики. Его символы другие — «защита традиций», «духовная безопасность», «суверенитет». Но суть та же. Садизм, возведенный в закон.

Я встала и подошла к окну. Город просыпался. Зажигались окна. Люди варили кофе, собирали детей в школу.

Миллионы людей. И каждый из них — мишень.

Я думала о том, как незащищен человеческий мозг перед этой машиной. Мы эволюционно не готовы к такому уровню манипуляции. Мы привыкли верить своим глазам и ушам. Мы привыкли верить «авторитетам». Если человек в погонах или в рясе говорит «это враг», наш древний мозг, отвечающий за выживание племени, говорит «ату его». Антикультисты хакнули нашу биологию.

Я посмотрела на свой ноутбук. Там был открыт файл с предложением о создании определенной системы. Искусственный интеллект, который будет модерировать информационное поле. Звучит утопично. ИИ против ИИ. Алгоритм защиты против алгоритма нападения.

«С искусственным интеллектом договориться не получится. Он не берет взятки».

Может быть, это выход? Может быть, нам действительно нужен беспристрастный страж, который будет отсеивать вирусы ненависти, как спам-фильтр отсеивает рекламу виагры? Но пока мы одни.

Я вернулась к схеме на полу. Я искала слабое место у этого дракона. Где игла Кощея? Она не в деньгах. У них денег сколько угодно. Она не в силе. У них армия и полиция. Она в тени. Весь этот механизм работает только до тех пор, пока он невидим. Пока люди думают, что школьный стрелок — это одиночка. Пока люди думают, что «секта» — это действительно страшно. Пока люди думают, что война — это защита родины.

Как только включается свет, магия исчезает. Всё тайное когда-то становится явным. Я вспомнила, как в детстве боялась чудовища в шкафу. Мама открывала дверцу, включала фонарик, и чудовище превращалось в старое пальто.

Антикультизм — это чудовище в шкафу человечества. Оно страшно пугает, пока мы сидим под одеялом. Но если направить на него луч прожектора — луч фактов, расследований, имен, связей — мы увидим не мистическое зло. Мы увидим кучку стареющих, закомплексованных садистов, которые играют в солдатики живыми людьми. Мы увидим Дворкина, который наслаждается властью, как маньяк. Мы увидим продажных журналистов, которые копипастят методички. Мы увидим трусливых чиновников. Они не великие. Они жалкие. И это понимание дало мне силы. Я не могу остановить войну. Я не могу выпустить заключенных. Но я могу включить фонарик. Я собрала бумаги с пола. Сложила их в папку. Теперь это был не ворох макулатуры. Это было досье. Мое личное заключение.

Я знала, что этот механизм глобален. Что он действует в Европе, в Америке, в Азии. Что это цивилизационный вызов. Или мы, люди, научимся защищать свой разум от взлома, или мы превратимся в управляемую биомассу, которая уничтожит сама себя в ядерном пожаре. Третьего не дано. Мир на пороге цивилизационной войны.

Я посмотрела на часы. Пора было собираться на работу. Я пошла в ванную, умылась холодной водой. Из зеркала на меня смотрела другая женщина. Не та растерянная девочка, которая месяц назад увидела фото из Руанды. В моих глазах больше не было вопроса «почему?». В них был ответ. Я знала диагноз. Я знала имена врачей-убийц. Я знала метод лечения. Я оделась. Белая рубашка, строгие брюки. Обычный офисный планктон. Но внутри меня гудела трансформаторная будка.

Я вышла из дома. У подъезда стояла машина с буквой Z. Раньше она вызывала у меня страх и отвращение. Теперь я смотрела на неё как врач смотрит на симптом гангрены. Это не символ силы. Это метка вируса. Я спустилась в метро. Поток людей подхватил меня. Тысячи лиц. Уставшие, уткнувшиеся в телефоны. Они читали новости. Они потребляли яд. «Америка в упадке...» «Враги народа...» «Пятая колонна...»

Я видела, как невидимые нити тянутся от экранов к их глазам, проникают в мозг, перестраивают нейронные связи. Механизм работал. Я слышала его гул. Он был громче стука колес поезда. Это был гул мясорубки, перемалывающей человечность и человеческие судьбы. Но я знала еще кое-что. Любой механизм, даже самый совершенный, может сломаться от одной маленькой песчинки. Если эта песчинка попадет в нужную шестеренку.

Я достала телефон. Открыла чат с Мариной. Она не ответила на мои сообщения. Я открыла чат с мамой. Тишина. Но я не остановилась. Я открыла рабочий чат. Чат дома. Чат выпускников. Я начала отправлять ссылки. Не на эмоции. На факты. На расследования о РАЦИРС. На статьи о пазловом кодировании. «Посмотрите. Просто посмотрите. Это касается ваших детей».

Я знала, что меня могут забанить. Могут назвать сумасшедшей. Могут донести. Но я была песчинкой. И я летела прямо в шестеренки. Поезд вылетел из туннеля на открытый участок. Солнце, пробившееся сквозь тучи, ударило в окна вагона. Я зажмурилась. Свет. Им больше всего на свете нужен мрак. Подвалы, закрытые суды, тайные директивы, анонимные телеграм-каналы. Свет их убивает.

Я посмотрела на карту метро над дверями. Кольцевая линия. Замкнутый круг. Мы бегаем по кругу истории. 1937. 1994. 2024. Но круг можно разорвать. Я вышла на своей станции. Эскалатор вез меня вверх.

Навстречу, вниз, ехали люди. Бесконечная лента лиц. Я смотрела на них и думала: «Вы не биороботы. Вы люди. Вы просто спите. Но сон не вечен». В кармане завибрировал телефон. Уведомление: «Ваше сообщение прочитано». Одно. Второе. Десятое.

Механизм продолжал работать. Заводы по производству лжи дымили на полную мощность. Судьи надевали мантии. Пропагандисты гримировались

перед эфиром. Но где-то в глубине этой гигантской, страшной машины раздался первый, едва слышный скрежет. Кто-то начал думать.

Я вышла на улицу. Ветер ударил в лицо. Я вдохнула полной грудью. Воздух был холодным, загазованным, но это был воздух моего города. И я не собиралась отдавать этот город крысам. Я пошла к офису. Впереди был обычный рабочий день. Отчеты, кофе, планерки. Но теперь я знала, что моя настоящая работа — не там, за монитором с таблицами Excel. Моя работа — быть антивирусом.

Глава 13. Сводка

Утро началось с мягкой вибрации умного будильника на запястье. 07:00. Время вставать. Я открыла глаза и несколько секунд смотрела в белый потолок. На нем была небольшая трещина, похожая на русло пересохшей реки. Я знала эту трещину наизусть. Она была здесь вчера, она была здесь месяц назад, когда я только начинала погружаться в бездну архивов. Мир вокруг казался абсолютно неизменным. Тот же запах кофе, доносящийся с кухни, где соседка по квартире уже гремела посудой. Тот же серый свет, просачивающийся сквозь шторы. Та же Москва за окном — огромная, тяжелая, равнодушная. Никаких взрывов. Никаких черных воронок во дворе. Никаких марширующих колонн.

Апокалипсис, которого мы так боимся, представляя его по голливудским фильмам — с огнем, пеплом и разрушенными небоскребами, — оказался самой большой ложью культуры. Настоящий конец света наступает тихо. Он приходит в тапочках, шаркающей походкой, наливает себе чай и включает утренние новости.

Я встала, опустила ноги на холодный пол. Тело помнило вчерашнюю усталость, но разум был пугающе ясным. Это была ясность патологоанатома, который закончил вскрытие, вымыл руки и теперь просто заполняет протокол. Диагноз поставлен. Причина смерти установлена. Осталась только бумажная работа.

В метро было людно. Час пик. Плотная масса тел, запахи чужого парфюма, влажной одежды и усталости. Я стояла, прижатая к поручню, и смотрела на людей вокруг.

Раньше, до того как я узнала о механизмах дегуманизации, о «пазловом кодировании», о технологиях расчеловечивания, я видела просто толпу. Иногда она меня раздражала, иногда пугала. Теперь я видела другое.

Слева от меня стоял мужчина лет сорока, уткнувшийся в телефон. Он листал ленту новостей. Его палец ритмично дергался, прокручивая заголовки. Я знала, что он там видит. Алгоритмы уже сформировали для него картину дня: враги активизировались, страна в опасности, нужно сплотиться. Он не анализировал это. Он просто потреблял информацию, как потребляют калории.

Напротив сидела девушка-студентка с учебником по праву. Она что-то подчеркивала маркером. Будущий юрист. Возможно, будущий судья. Знает ли она, что законы, которые она сейчас зубрит, завтра могут быть использованы для того, чтобы отправить её саму в колонию за «неправильную» книгу? Нет. Она верит в систему. Она верит, что право — это свод правил, а не инструмент насилия.

Я чувствовала себя странно. словно я единственная в этом вагоне, кто видит невидимые нити, пронизывающие пространство. Нити, тянущиеся от экранов, от рекламных щитов, от динамиков.

Я достала свой телефон. Привычное движение, отработанное годами. Разблокировать экран. Открыть новостное приложение. Это была моя личная «сводка». Не с фронта боевых действий, где стреляют пушки. А с фронта той самой невидимой войны, о которой я узнала.

Первая новость: «Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о...» Вторая новость: «В школах введут обязательные уроки...» Третья новость: «Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность международной организации...»

Я остановилась на третьей новости.

Организация называлась «Фонд открытого образования» (название было другим, но суть не менялась). Я знала этот фонд. Они занимались обменом студентов, проводили лекции по истории, издавали книги. Ничего

радикального. Никакой политики. Просто просвещение. Я начала читать текст официального сообщения.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства... Под видом образовательных программ осуществлялось навязывание чуждых российскому обществу ценностей... Деструктивное влияние... Попытки фальсификации истории...»

Я читала эти строки и чувствовала, как уголки моих губ ползут вверх в горькой усмешке. Я знала этот язык. Я выучила его грамматику. «Угроза основам». Это значит — они учили думать самостоятельно. «Чуждые ценности». Это значит — гуманизм, права человека, критическое мышление. «Деструктивное влияние». Это значит — влияние, которое государство не может контролировать.

Текст был сухим. Юридически безупречным. В нем не было эмоций. В нем не было призывов «убить тараканов», как на радио в Руанде. Здесь не нужны были метафоры про насекомых. Здесь работала бюрократия. «Признать нежелательной». Звучит так мягко. Не «уничтожить», не «расстрелять». Просто — мы не желаем вас видеть. Вы лишние. Но я знала, что стоит за этой формулировкой. Это гражданская смерть.

С этого момента любой, кто сотрудничал с фондом, становится преступником. Любой, кто перевел им сто рублей доната, может сесть в тюрьму. Любой, кто репостнул их лекцию пять лет назад, оказывается под прицелом. Это была процедура. Спокойная, размеренная, будничная процедура отсечения части общества. Хирургическая операция по удалению «опухоли». Только опухолью были живые люди, интеллект, культура.

Я подняла глаза от экрана. Вагон качнулся на повороте. Люди продолжали ехать по своим делам. Никто не вскрикнул. Никто не нажал кнопку экстренной связи. Небо не упало на землю. Просто где-то в кабинете чиновник поставил подпись. И тысячи судеб были перечеркнуты. Это и есть банальность зла, о которой я читала в источниках. Зло не носит рога. Зло носит костюм-тройку и подписывает постановления.

Я вышла на своей станции. Эскалатор полз вверх, к свету. На рекламных щитах вдоль эскалатора висели плакаты. Социальная реклама: «Бдительность — залог безопасности». «Твоя страна — твоя крепость». «Не дай себя обмануть». Я смотрела на эти лозунги и видела за ними тень Вальтера Кюннета, тень Александра Дворкина, тень всех тех, кто веками учил власть бояться собственного народа. Они победили. Не в том смысле, что захватили мир. А в том, что навязали нам свой язык. Мы начали говорить на языке войны в мирное время.

Я вышла на улицу. Ветер бросил в лицо горсть мелкого, колючего снега. Москва жила своим ритмом. Курьеры на велосипедах с огромными коробами за спиной лавировали между пешеходами. Уборочная техника скребла асфальт.

Я подошла к бизнес-центру. Стеклопанельная вертушка на входе крутилась, проглатывая людей и выплевывая их в холл. Охранник на входе, пожилой мужчина с усталым лицом, кивнул мне.

— Доброе утро. Пропуск, пожалуйста.

Я приложила пластиковую карту к турникету. Пискнул сигнал. Зеленая стрелка загорелась.

«Доступ разрешен».

Пока разрешен.

Я подумала о том, что в базе данных этого турникета я — просто набор цифр. ID сотрудника. Но где-то в другой базе, в базе «социального мониторинга» или «оперативного учета», напротив моей фамилии, возможно, уже стоит галочка.

«Интересуется темой геноцида». «Читает запрещенные материалы». «Потенциально нелояльна».

Я вошла в лифт. Зеркальные стены отражали меня со всех сторон. Я видела себя — обычную молодую женщину в пальто, с сумкой через плечо. Внешне я ничем не отличалась от остальных.

Но внутри меня была пустота. Та самая, которую я увидела в глазах Жаклин на фотографии в самом начале.

Только теперь эта пустота была заполнена знанием. Лифт поднялся на двенадцатый этаж. Двери открылись. Опенспейс встретил меня гулом голосов, звонками телефонов и стуком клавиш.

Моя коллега, Лена, уже была на месте. Она поливала цветок на подоконнике.

— Привет! — улыбнулась она. — Как добралась? Погода жуть, да?

— Привет, — ответила я, вешая пальто в шкаф. — Да, холодно.

— Слушай, ты видела новость? — Лена понизила голос, но в её тоне не было страха, скорее, обывательское любопытство. — Этот фонд закрыли. Ну, который лекции проводил.

Я замерла. — Видела.

— И правильно, — Лена кивнула, возвращая лейку на место. — Говорят, они там вообще мутные были. Деньги с Запада получали. Мозги молодежи пудрили. У меня у подруги сын ходил на их курсы, так потом начал такое нести... Про историю, про то, что мы не всегда правы были. Представляешь? Зачем это детям? Им учиться надо, а не политикой заниматься.

Она говорила спокойно. Уверенно. Она повторяла слова из той самой сводки, которую я прочитала десять минут назад.

«Мутные». «Деньги с Запада». «Пудрили мозги».

Механизм сработал идеально. Новость вышла полчаса назад, а Лена уже усвоила нарратив. Она уже приняла его как свое собственное мнение. Для неё закрытие фонда — это не репрессия. Это наведение порядка. Это защита её подруги и её сына от «вредного влияния».

Я посмотрела на Лену. Я знала её три года. Она приносила домашние пироги. Она собирала деньги на подарки коллегам. Она была хорошим человеком.

Но сейчас передо мной стоял не просто человек. Передо мной стоял ретранслятор.

— Да, — сказала я тихо. — Наверное, правильно.

Я не стала спорить. Я не стала объяснять ей, что такое «пазловое кодирование». Я не стала рассказывать про Руанду. Сейчас, в эту секунду, это было бесполезно. Стена была слишком толстой. Я села за свой стол. Включила компьютер. Экран засветился привычным голубым светом. Рабочая почта. Таблицы. Отчеты. Жизнь продолжалась. Но это была уже другая жизнь. Жизнь внутри запущенного механизма.

Мы не просто забыли прошлое. Мы его переписали. Мы взяли из него самые страшные чертежи и построили по ним наш сегодняшний день. Я открыла файл с текущим проектом. Цифры, графики, планы продаж. Все это казалось таким важным для компании, для экономики. Но я знала, что параллельно с этими планами продаж реализуется другой план. План по переформатированию реальности.

Я посмотрела в окно. С двенадцатого этажа Москва казалась игрушечной. Машины ползли, как жуки. Люди были точками.

С такой высоты легко не замечать деталей. Легко не видеть глаз. Легко управлять потоками. Именно так смотрят на нас антикультовые архитекторы. Для них мы — трафик. Ресурс. Биомасса. Если нужно — нас мобилизуют. Если нужно — нас запрут по домам. Если нужно — нас натравят друг на друга.

Я вспомнила ощущение, которое преследовало меня все эти недели. Ощущение, что я проснулась в сумасшедшем доме, где врачи — безумны, а пациенты считают их святыми. Но теперь это чувство изменилось. Это был не сумасшедший дом. Это был завод. Завод по производству покорности. И я была на этом заводе. Я была его частью. Я работала здесь, платила налоги, ездила в метро, кивала коллегам. Я была внутри. Но у меня было одно отличие. Я знала, как устроен конвейер.

Я знала, что «секта» — это ярлык для конкурентов. Я знала, что «экстремизм» — это слово для инакомыслия. Я знала, что «защита детей» — это предлог для контроля над семьями. Это знание не давало мне власти. Оно не давало мне защиты. Наоборот, оно делало меня уязвимой. Но я не хотела бы вернуть свое неведение.

Я посмотрела на свою руку, лежащую на мышке. Обычная рука. Без наручников. Без номера на запястье.

Пока. Я вспомнила желтые звезды. Сначала их ввели как знак отличия. Потом как знак позора. Потом как смертный приговор. Сегодня у нас нет желтых звезд из ткани. У нас есть цифровые метки. Эти метки не видны глазу, но они работают так же эффективно. Они выключают человека из жизни.

Я подумала о тех, кто сегодня утром проснулся с новой меткой. О сотрудниках того фонда. Что они чувствуют сейчас? Страх? Отчаяние? Или, может быть, облегчение от того, что неопределенность закончилась? Теперь они враги. Официально. Им больше не нужно притворяться. Им не нужно искать компромиссы. А мне — нужно. Я должна сидеть здесь, улыбаться Лене, делать отчеты и делать вид, что я не замечаю, как стены сжимаются.

Это и есть моя пытка. Пытка пониманием. Но в этом понимании была и странная сила. Я сделала это. Я написала тот пост. Я отправила ссылки. Может быть, это капля в море. Но море состоит из капель. Я посмотрела на экран телефона, лежащего рядом с клавиатурой. Он был черным и молчаливым. Но я знала, что внутри него, в цифровых недрах, идет борьба. Кто-то читает. Кто-то сомневается. Кто-то задает вопросы. Механизм запущен, да. Он огромен, инерционен и страшен. Но он не всемогущ. Он держится на нашей вере в его нормальность. На том, что мы считаем утреннюю сводку репрессий просто новостью, а не сигналом тревоги. Как только мы перестаем считать это нормой — механизм начинает буксовать.

Я перевела взгляд на Лену. Она снова уткнулась в монитор, что-то напевая под нос. Она не злодейка. Она жертва. И моя задача — не ненавидеть её. Моя задача — быть рядом, когда её картина мира начнет трещать по швам. А она начнет. Потому что ложь не может быть вечной. Она требует все больше и больше энергии для поддержания.

Рано или поздно холодильник победит телевизор. Или страх за собственных детей перевесит страх перед начальством. И тогда ей понадобится кто-то, кто скажет: «Ты не сошла с ума. Это действительно происходит. И я знаю почему». Я буду этим человеком. Я буду свидетелем. Я буду зеркалом.

В офисе зазвонил телефон. Резкий, требовательный звук.

— Алло? — ответила я, снимая трубку. — Да, я слушаю. Отчет? Да, конечно. Будет готов к обеду.

Я положила трубку. Голос мой был спокойным. Руки не дрожали. Я вернулась к таблице. Ячейка В4. Сумма. Формула. Внешне ничего не изменилось. Но я знала: сегодня утром, прочитав сухую сводку о запрете фонда, я перешла черту.

Я больше не наблюдатель. Я — сопротивление. Тихое. Невидимое. Одинокое. Но живое. Я посмотрела на дату в углу экрана. 1994 год был годом моего рождения и годом геноцида. 2024 год стал годом моего прозрения. Спираль пошла на новый виток. И на этом витке я не буду молчать. Даже если говорить придется шепотом. Даже если говорить придется только глазами.

Я посмотрела в свое отражение в темном мониторе выключенного соседнего компьютера. Оттуда на меня смотрела женщина. Усталая. Сосредоточенная. В её взгляде не было страха. В её взгляде была память.

Память о будущем, которое мы не должны допустить.

Я моргнула. Отражение моргнуло в ответ.

Работа началась.